

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки.

МОЯ РОДИНА.

(Посвящается жене моей).

Родина есть священная тайна каждого человека, так же, как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он чрез лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан чрез родину и с матерью-землей и со всем Божиим творением. Человек существует в человечестве и природе. И образ его существования дается в его рождении и родине. Каждый человек имеет свою индивидуальность и в ней неповторим, но равноценен каждой другой, это есть дар Божий. И она включает в себя не только лично-окачественное я, идущее от Бога, но и земную, тварную индивидуальность, – родину и предков. И этот комплекс для каждого человека также равноценен, ибо он связан с его индивидуальностью. И как нельзя восхотеть изменить свою индивидуальность, так и своих предков и свою родину. Нужно особое проникновение, и, может быть, наиболее трудное и глубокое, чтобы познать самого себя в своей природной индивидуальности, уметь полюбить свое, род и родину, постигнуть в ней самого себя, узнать в ней свой образ Божий. Часто завидуют родившимся среди потрясающих красот природы, хотя в очах Божиих, в Софии Божественной, все красоты одинаково потрясающи. Есть предустановленное для каждого откровение Софии в его рождении и в его родине. Чем я становлюсь старше, чем более расширяется и углубляется мой жизненный опыт, тем яснее становится для меня значение родины. Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что вся дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь есть только ряд побегов на этом корне. Все, все мое –оттуда. И умирая возвращусь – туда же, одни и те же врата – рождения и смерти.

Моя родина, носящая священное для меня имя Ливны, небольшой город Орловской губернии, – кажется я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его, – в нагорье реки Сосны – не блещет никакими красотами, скорее даже закрыта некрасотами, серостью, одета не только в скромной, но и бедной и даже грязноватой одежде. Однако она не лишена того, чего не лишена почти всякая земля в нашей средней России: красоты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и деревьев. Но все это так тихо, просто, скромно, незаметно и – в неподвижности своей – прекрасно. То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей, – некричащую, благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, все это мне было дано в восприятии родины. И ей свойственна также такая тихость и ласковость, как матери. Она задушевна, как русская песня, и, как она, исполнена поэзии музыки. Только ее надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шепотом нашептывает свои небесные сны. Она робко напоминает лишь о потерянном рае, о той надмирной обители, откуда мы пришли сюда. И теперь, когда я пишу эти строки и собираю свои чувства и свою любовь к ней, в душе моей звенит этот голос вечности. И поистине родину можно – и должно – любить вечно любовью. Это не только страна, где мы «впервые вкусили сладость бытия», это – гораздо большее и высшее: это страна, где нам открылось небо, где нам виделось видение лестницы Иаковлей, соединяющей небо и землю. Но для этого надо изжить свою родину, воспринять и услышать ее. Не всем это дано, иные, гонимые ветром жизни, оставляют или меняют родину, прежде чем она войдет в их душу. Я был ее избранныком, я жил с ней все отрочество и юность, у меня ничего, кроме нее, не было в то время, и вся моя жизнь была с ней и в ней, и только позже вошли иные, более оглушающие впечатления, или присоединились к ней иные, новые пласты (Орловская губерния соединилась с Крымом), но все это было позднее. Определился же я в своем естестве через Ливны. Я – ливенец.

Попытаюсь как-нибудь рассказать о родине, хотя это так же трудно, как и рассказать о матери...

Ливны – небольшой (12 т.) город Орловской губернии, расположенный на высоком берегу р. Сосны[1] со впадающей в нее маленькой речкой Ливенкой[2]. Город древний, исторический. Еще во времена татарских нашествий здесь была крепость, от которой остались следы монастыря в виде Сергиевской церкви. В могилах при постройке соседнего храма св. Георгия были найдены обширные кладбища, очевидно военные, хотя и более поздние, близ бывшего монастыря обретались св. останки в могилах, чтимые как мощи. Земля была исполнена и освящена человеческими останками, как некое кладбище с позабытым и оставленным алтарем. Я разумею ту нагорную часть, высившуюся над рекой, где тихо сияла Сергиевская церковь, близ которой я был рожден. Город был

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
довольно обширен, большею частью из бедных деревянных домов, хотя в центре были и каменные. Был пылен и грязен. Мало растительности, хотя и был городской сад и чудный кладбищенский, теперь обращенный в парк. Кое-где были небольшие садики при домах; был и у нас, такой дорогой, тихий, нежный, хотя и бедный, маленький. Наш дом, в котором я родился, был недалеко от нагорной части над рекой в пяти минутах от Сергиевской церкви. Он был деревянный, в пять комнат, расширявшийся пристройками. Он принадлежал семейству моей матери. Сколько здесь было рождений и смертей, – тоже алтарь предков. Он был одноэтажный, серый, выходящий на угол своими многими небольшими окнами. Такой интимный, задушевный. Но я не помню, чтобы в нем праздновались браки, но помню много, много похорон. Он был живой, этот дом, как будто часть нашего семейного тела и излияния души предков. Когда приходилось приезжать домой издалека-

409

ка, он тихо обнимал странника и нашептывал ему песни детства... Святая колыбель. Внутри его все было бедно и просто (хотя и выше среднего убогого уровня ливенской жизни), скромная деревянная мебель, но даже «диван» и два «кресла» в гостиной. Везде иконы и горящие перед ними лампы, словно церковь. Вокруг – колокольни с разными звонами, ближними и дальними. Это была сладкая и благородная музыка, которою освящался воздух и неприметно питалась душа. Этот скромный дом был сроднен с душой, ее не покоряя. Но он был все-таки больше и выше, чем дано было большинству в нашем городе, и это преимущество неизменно отражалось в моей совести, как некая незаслуженная привилегия, и ее будило и брело этой своей заслуженностью, тревожило социальную совесть, давало ей заповедь на всю жизнь.

Мы были горожане в самом дурном смысле слова. От города мы не имели ничего положительного, но были лишены и не знали никогда прелестей деревенской жизни, никогда не переживали сельскохозяйственного года, пашни, косьбы, уборки урожая, ничего, ничего. Поистине с варварским равнодушием и вместе безразличием бедности, мы никогда не жили в деревне (на «даче») и – самое большее, – мне случалось провести в деревне два-три дня, причем я изнывал от бессонницы, от жары, от непривычных условий жизни, от блох. Даже и за город, в лес, мы собирались два-три раза в лето, – эти сборы были событием, и хотя лесок – дивный сказочный липовчик со степными цветами, которыми мы все упивались, был в трех верстах от города, мы ездили (и непременно ездили, и лишь в поздние годы ходили пешком). Обычно мы ходили гулять на «линию» (по ветке железной дороги) или в городской сад (на «музыку» или «над Сосну»)… Таково было наше варварство. Я замечал, что мужики так равнодушны к природе, хотя сами составляют ее часть; они относятся к ней или как корыстные хозяева, или как… звери (в хорошем и плохом смысле слова). Край наш прекрасен своей широтой и своими полями, но беден и однообразен природными красотами. Он безгорен и безлесен, – наш крохот-

410

ный липовчик только оазис здесь, и можно ехать десятки верст на лошадях и в поездках, и «все поля, поля и поля». Вероятно, были красоты в «имениях» «помещиков», полумифических аристократов, приезжавших на тройках, но эти уголья представлялись сказкою нам, бедным попovichам. Красой природы для нас были тихие, иногда глубокие речки, с возможностью рыбной ловли. На нашей реке Сосне летом мы жили, то в купальне, то на рыбной ловле, это было самое интенсивное общение с природой нашего детства. На рыбную ловлю ходили и дальше, хотя все это было неумело, убого, лишено настоящего оборудования и сноровки. Но это давало нам живое дыхание природы. И такое же дыхание давала зима, которую мы переживали с ее дивными закатами, с ее коньками, снежками и санями. И весна с ее бегущими ручьями, с ее ледоходом, хрустящим и шумящим, с обнажающимися от снега сухими пятнами земли, с первыми травками… Каждый дюйм весны, каждый миг пробуждения природы был нами измерен и возлюблен. И сейчас тихие слезы любви и благодарности туманят мои глаза – как это было бедно и прекрасно, как ж и-в о. Мы в природе и в нас природа. И может ли быть, даже и при нашем варварском и пауперском неумении брать ее, может ли быть ее мало? Она являлась царственно, тихо и прекрасно и приносила поэзию душе, будила в ней ее грезы. Как царица София, она являлась мне, вдохновляя и не объясняя, лаская и не устрашая, сокровенная в своей красоте и прекрасная Ею. И детская душа навсегда услышала, узнала, возлюбила и отдалась этому видению. И все эти детские радостные грезы были осенены небесной музыкой церковного звона. Наши Ливны были для меня Китежем. О нашей Сосне, быстро обмелевшей и затягиваемой песками (по

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
всеобщему равнодушию и варварству, соединенному с бедностью), были
Китежские легенды, которые пели моей душе, и она пела о них. Одна была о
Колоколе, который будто бы сорвался во время подвешивания и скатился с горы
в реку, но иногда гудит под водой. Я воспевал это в детских, неумелых
виршах:

411

Тьма ночная над водой, Город весь заснул, И несется над рекою Колокола гул...
Заунывный... как тоскою Полон этот звон...

Но родина моей родины, ее святыня, была Сергиевская церковь, «Сергие», как
сокращенно она называлась в обычной речи. Для нас она была чем-то столь же
данным и само собою разумеющимся, как и вся эта природа. Она была
прекрасна, как и эта природа, тихую и смиренную красотой. Она, очевидно,
представляла собою остаток древнего стиля: голубая с белыми колоннами,
главная древняя ее часть была трогательна своей интимностью и прелестью,
она и была – Сергиевская, и к ней была пристроена главная часть, с
престолом Успения, – храмовой праздник 15-го августа. Я никогда не
задумывался о том, почему здесь соединены Сергиево и Успение, – явное
созвучие Троице-Сергию в Лавре. Я не знал и не понимал, что это был столь
же Софийный храм, как и Успенский собор в Лавре; я не знал тогда, что я
получил имя, был крещен и духовно рожден в Софийном храме, причтен к лику
служителя Софии Премудрости Божией преп. Сергия. Я не знал, что все мои
вдохновения, которым в будущем суждено было развиться в целую богословскую
систему, в корне своем были всеяны в душу Промыслом Божиим в этом умильном
храме. Только теперь, в старости я постигаю этот дар Божий. Как мы любили
этот храм, – как мать, как родину, как Бога, – одной любовью, и как мы
вдохновлялись им. Он был для нас и святилищем, и источником восторгов
красоты, – больше у нас ничего не было, но этого было довольно. Мы были
привязаны к своему храму исключительно и ревниво, – другие храмы, как даже,
например, Кладбищенский, где служил мой отец, были как бы не храмы,
полу-храмы, лишь это был настоящий. В нем душа дышала красотой. Он весь был
голубой, софийный: особо стояла колокольня, особо храм, род удлиненной
базилики, но какой домашний,

412

уютный, теплый, с теплом намоленных икон (чтимой иконы Тихвинской Божией
Матери). Хора, конечно, не было, да правду сказать, в нем и не нуждались,
храм сам пел. Был гнусавый дьячок, наивно любивший свой клирос и право
правивший свое клиросное послушание, – бедный, с красным носом, вероятно,
от выпивания. Но краса нашего «хора» был бас «Степа-ныч», пьяница,
неизвестно как существовавший. Как сейчас вспоминаю, был он, вероятно,
подлинно музыкален, артист в душе, и голос имел прекрасный, благородный,
хотя и пропитый, дребезжащий. Как мы трепетали, придет или не придет от
своего запоя Сте-паныч петь в Великий Четверток («Вечери Твоя тай-няя»),
заутреню в Великую Субботу («Волною морскою») или в Св. Пасху петь
пасхальную заутреню. А другая краса нашего храма, другой столп нашей
эстетики, был диакон: прекрасный тенор, бархатный, музыкальный, задушевный.
Тоже пил, и тоже мы трепетали, будет ли в голосе и будет ли петь в
Страстную Субботу и пасхальную заутреню. И когда оба пели, душа уходила в
небеса, горела и трепетала в божественном сиянии. Премудрость Божия
смотрела в душу во Славе Своей. Священник о. Иван, старенький, заикающийся,
сама простота, сам ничего не вносил от себя в эту эстетику, но и не
противоречил ей. Он был принят в это целое, потому что был принят этим
храмом. И храм стоял над рекой, на высоте, и окружен был, пусть простым и
убогим, цветником. Он тоже жил и дышал одной жизнью с природой. Во время
Великого поста с его печальными, строгими звонами, дивно соединялась музыка
бегущих весенних ручьев, шорохи и шумы ледохода, ширь весеннего разлива, а
позже и пасхальная радость нежной трепетной весны. А в день Успения его
икона была неизменно украшена осенними астрами, бархатками и резедой, и их
благоухание с тех пор трогает сердце радостью Успения. Это не внешняя
только ассоциация, но благоухание от гроба Пречистой. И уже свежающие
лунные вечера над рекой с площадки около храма... Да, здесь я принял в сердце
откровение Софии, здесь в мою душу была вложена та жемчужина, которую искал
я в течение

413

всей своей слепой и смутной жизни, искал умом и сердцем, больше умом, чем

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
сердцем, и когда обрел, то узнал ее, как сокровище, данное мне как дар
Божий в духовном моем рождении.

Но наша церковная эстетика включала и «кладбище», то есть кладбищенскую церковь моего отца, которая находилась на другом конце города. Это считалось «далеко», и туда ездили «на лошади»: зимой на санях, летом на «тарантасе», причем и эта лошадь, и кучер «Федорок» также вошли в память о святине. Мы неохотно изменяли «Сергию» для «кладбища» и лишь иногда, в определенные времена, как бы из любезности отцу, отправлялись с ним на его служение. Здесь было меньше эстетики: пение (тоже дьячка, трогательного в своей простоте и благочестивой наивности) нас не пленяло. Церковь была мужицкая, серая. Но здесь было другое: отец, совершающий таинство Евхаристии и потрясающий тем нашу душу, его детская восторженность в пасхальную ночь, когда посредине храма водружалась жаровня фимиама, и он наполнялся благоуханием (по типикону), и из светлого храма выходили в темную ночь сада с могилами, поющими своими молчаливыми, но слышными голосами: Христос воскрес. С «кладбищем» соединяется у меня еще и небесная музыка сфер: когда ночью, во втором часу, ехали на санях в праздник Рождества Христова или Крещения, то небесный свод сиял своею славою. Звезды горели и посылали в душу свои ангельские звуки среди мороза, как Господь родился на морозе в зимнюю ночь в пещере. И все – одно об одном: о Славе Божией. Душа воспринимала многое и сохранила немногое, но это сохранила, потому что только это есть сокровище души, ее жемчужина, – остальное кожа или оболочка...

Вместе с церковью я воспринял в душу и народ русский, не вне, как какой-то объект почитания или вразумления, но из нутра, как свое собственное существо, одно со мною. Нет более народной и, так сказать, народящей, онародивающей стихии, нежели церковь, именно потому, что здесь – нет – «народа», а есть только церковь, единая для всех и всех единящая.

414

Однако никогда я не был слеп и глух к страданию народному, к неравенству и обиженности. Себя мы чувствовали все-таки привилегированными, как бы ни было острейшей действительности скромно наше существование, и это сознание вносило острое чувство стыда и социального покаяния, хотя и бессильного. По-детски это выражалось так: к празднику Пасхи нам обыкновенно шилась какая-нибудь новая принадлежность туалета: уродливые сапоги, не менее уродливый костюм, вообще обновки, которые, конечно, весело и не без горделивости самолюбования чувствовались ее обладателем. И однако к этому всегда примешивался щемящий звук, как ноющий зуб: а такой-то (Ванька, Кузятка и под.) будет в своем единственном, старом, замусоленном, уродливом дипломате или свитке, потому что ему нечего больше надеть. И красуясь в церкви в своей обнове, я робко искал глазами и находил его – в его уродстве. Правда, сам-то он едва ли так остро чувствовал свое убожество, а сам я отлично приспособлялся к некоторому духовному неудобству и благополучно забывал об укорах совести. Но они всегда были, эти укоры. И психология «кающегося интеллигента», которую он не умеет отличить от христианского покаяния, вместе с его «народничеством» зародилась именно здесь. Я всегда был народником, потому что был народен от рождения. Больше ничего у нас не было в детстве из области «культуры»: ни музыки, ни другого искусства, которого так жаждала душа. Но она была полна, потому что все дано было в церкви, истина чрез красоту, и красота в истине. Здесь, в Софийном храме Успения, я родился и определился, как чтитель Софии, Премудрости Божией, как чтитель преп. Сергия в его простоте и смирении, соединенной с горением и дерзновением, в его народолов-бии и социальном покаянии. И здесь я определился как русский, сын своего народа и матери – русской земли, которую научился чувствовать и любить на этой горке преп. Сергия и на этом тихом смиренномудром кладбище. И по велению Божию конец своего жизненного пути совершаю под кровом Успения-Сергия, хотя и в стране далекой, в земле чужой, без аромата

415

бархаток и резеды в августовский вечер.. Мое великое богатство, особое благословение Божие, было не только в том, что я родился и вырос под кровом двух храмов и на лоне нежной, смиреннотеломудренной природы, но и в семье православного священника, в атмосфере дома-храма, как будто продолжавшего собою храм. По своему происхождению от отца я – левит до 6-го колена (приблизительно до времени Иоанна Грозного, когда – возможно – захудалый

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
боярский сын с явной примесью татарской крови, по обычаю того времени, вступал в духовное сословие). По матери, вероятно, происхожу от левитско-дворян-ского рода, со следами утонченности (и, может быть, некоторой дегенерации). Мой отец был смиренный и скромный священник, 47 лет прослуживший в своей кладбищенской (бесприходной) церкви с каждодневным служением, на панихидные гроши вскормивший и воспитавший всю нашу семью (семь человек детей, из которых остались в живых только два). Оба они, – и отец и мать, – были проникнуты церковной верой с простой и наивной цельностью, которая не допускала никакого вопроса и никакого сомнения, а вместе с тем никакой вольности и послаблений. Типикон был нашим домашним уставом в постах и праздниках, богослужениях и молитве. Вместе с этой природой, которая тоже как будто следовала церковному уставу, строй нашей жизни дышал этой атмосферой и не мнил быть иным. Поэтому для нас было самоочевидным, как бы законом природы, что постные дни, и особенно суровый режим Великого поста, не могут быть не соблюдаемы; что ранние, даже ночные вставания к службе, независимо от времени года и погоды, неотменны, и не может даже возникнуть вопроса о человеческой слабости, состоянии здоровья и проч. Да они и не возникали, не могли возникнуть эти вопросы в нас самих, в детях, так мы сами были проникнуты этим, так мы любили храм и красоту его служб. Не знаю, каким горем и лишением было переживаемо (как иногда случалось), или болезнь отлучала от храма. Но, как правило, все времена церковного года, все праздничные и торжественные службы, особенно

416

все посты и пасхи, нами переживались, каждое в своем роде, как особое торжество. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися. Вот Рождественская и Крещенская службы: два часа ночи, мороз, звезды, холодная церковь, борьба с дремотой, а вокруг летают ангелы. Но что скажу о Величии великого поста: о преждеосвященной литургии, о стоянии Марии Египетской и, наконец, о Страстной Седьмице, где были у нас на учете все дни и часы? Исповедь в Великую Среду и литургия Великого Четверга (с «Вечери Тво-ея тайныя»), погребение Спасителя («Волною морскою»), литургия Великой Субботы, и, наконец, Пасха, когда мы не знаем где были: на небе или на земле. Слово хоровод небесных светил зажжены были в душе эти звезды, и они не могли погаснуть даже в тьме безбожия, но всегда они звали к небу. И вся эта церковная, типиконская жизнь была обрамлена и связана с жизнью природы, которая в ней участвовала. Это был детский христианский «пантеизм», софийное чувство жизни и мира. Это был простертый над землею свод небесный, навеки вечные вошедший в душу: небо и земля. И когда от рассказов о монастыре (одного купца) горела душа, то видела она себя в детском воображении украшенной ангельским золотым поясом, горевшим и светящимся...

Но вся эта безмерная поэзия, радость озлащенной жизни соединялась с бытом прозаическим и суровым. Мои родители для своего круга были исключительно заботливы, тревожны, чадолюбивы. Нашим отношениям всегда присуща была природная нервность, свойственная – в разной мере – и всем членам нашей семьи, особенно матери (вместе с изнурительными бессонницами). Но это не могло уберечь от гнета бедности (или, по крайней мере, постоянного недостатка) и возникающих на этой почве семейных ссор, в связи с неудержимой склонностью матери дарить, а для этого занимать (она была исключительно добра и в силу этого расточительна – не по нашим средствам, – моя мама для себя же самой довольствовалась самым малым

417

и как будто даже не существовала: не спала, не ела и только всегда беспокоилась и нервно курила). К этому надо прибавить тяжелые впечатления от «русской слабости», нечуждой и нашему дому. Алкоголизм скопил две молодые жизни (моих братьев, по-своему трогательных и благочестивых) в нашей семье, и только милостью Божией и сам я спасся от этой гибели. Эти же заболевания моего отца, очевидно, унаследованы были от предков (вместе с хронической нервной экземой), они сопровождалась после прекращения большой его раздражительностью, это есть самое, может быть, тяжелое воспоминание детства, вместе с криком в доме от семейных раздоров, преимущественно, почти исключительно возникавших на почве денежных затруднений. Но это проходило, и снова водворялся мир с жизнью словно в церкви или, по крайней мере, при церкви.

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
Наша семья состояла из родителей, братьев и дедушки. Все они, кроме двух братьев (меня и Лели), и умерли в нашем доме. Раньше всех – дедушка от паралича, от которого он лежал разбитым более года. Это был чистый и благообразный старец, Косма Сергеевич Азбукин, с ясным, любящим сердцем и каким-то прирожденным духовным достоинством. Он рано овдовел (его жена умерла после пожара, в котором будто бы считала себя виноватой от какой-то неосторожности, – из-за большой нервной и духовной утонченности). Оставшись один, он посвятил себя всецело воспитанию дочери «Саши» (Александры Косминичны, нашей мамы). Был педагогом и, хотя светским, но, конечно, до дна церковным. В своей жизни был безупречен и строг. Нас, внуков, любил безгранично, – меня менее, чем старшего брата, из-за моей суровости (которая на самом деле была застенчивостью). Он был как патриарх. С его кончиной смерть впервые вошла в детское сознание (лет 12), я был, с одной стороны, мистически потрясен, а с другой, оборонялся животным себялюбием. Хорошо в Ливнах хоронили: это прямо какой-то Египет. И, прежде всего, никакого страха перед смертью. С каким-то скорее радостным, важным чувством приходят родственники, а прежде всего жен-

418

щины обряжать покойника, молиться о нем, помогать на дому: особое вдохновение смерти входит в дом. А затем самые похороны в храме с несением по городу под погребальный перезвон колоколов, предание земле и почитание могилы, молитвенная память... Хорошо в Ливнах хоронят, и, если можно сказать про со-фийность и в похоронах, то скажу, софийно хоронят: печать вечности, торжество жизни, единение с природой: земля еси и в землю отыдеши...

Отец был провинциальный священник, который хотя и родился в селе Гуторове (Кромского у. Орл. губ.), однако совершенно не имел черт сельского жителя и как-то совершенно перевоплотился в горожанина со всей ограниченностью этого типа. Он хорошо учился в семинарии, но вообще был ограничен, без особых умственных запросов и без всякой трагики в характере. У него был здоровый ум и жесткий сарказм, не лишенный остроумия. В характере его (как и у меня) было мало ласковости, по крайней мере способности ее обнаруживать. Дедушка говорил обо мне с порицанием: Булгаковская суровость. Может быть, в последнем счете это – татарская кровь. Главное достоинство моего отца была его добросовестность и ответственная точность во всех делах его: таков он был в исполнении своего семейного долга, – воспитания детей с ответом себе и в бережении худой лишней копейки (что так не свойственно было маме), в своем служении в храме и школе (женской гимназии, где он законо-учительствовал), в своих счетах и личных отношениях. Это был человек доброй совести, на ответственность которого можно было положиться. Он не лишен был и своеобразной поэзии, любил природу, хотя и пользовался ею редко, и в Липовчике что-то напевал полуженским своим тенорком. Вообще же мужественность не была свойственна его характеру, он был робок и весьма законопослушен. В нем была крепкая воля в исполнении долга, как он его понимал: не могу иначе, – но совсем не было способности настойчиво хотеть и осуществлять свое воление. Он был – не – борец по природным своим свойствам. Своей судьбой он и не был призван к борьбе. Я унаследовал от него и эту ро-

419

бость, и отсутствие хотящей воли, но меня судьба поставила в неизбежность борьбы. И я всегда чувствую это как тяжелую на меня извне как бы наложенную необходимость, связанность, бремя. Мне труден мой удел.

Мама была окрыленная. Она всегда была несколько *obsedee* навязчивыми идеями, большую часть очередными пустяками: чтобы мною надета была крахмальная рубашка, которой я не выносил, чтобы кого-то «позвать» (в гости), написать поздравление и пр. (и это я от нее унаследовал как внимательность к людям). Но обычно «эти ее пункты» все-таки выходили за пределы нужд обыденности, относились к тому, что можно было назвать поэзией жизни. Она любила и поэзию, хотя при слабом ее образовании круг ее знаний был ограничен, любила книгу и стихи. Вообще являла в себе тип какого-то неуравновешенного и несколько дегенеративного (фантастическая бессонница) аристократизма. Была не лишена и незлобиво-го тщеславия в детях, – в отношении к моим успехам, – и суетливой говорливости.

В своей нервной многозаботливости была и деспотична, в соединении со слабохарактерностью. При волнениях, которые были обычны, много курила.

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
Поэтически любила храм и богослужение, но благодаря нервности будила нас раньше времени: «Сережа, вставай! Миша вставай!..» – раздавались по дому ее крики даже тогда, когда я терял уже веру и переживал эти бужения как насилие над собой и когда принужденный уходить из дома шатался по городскому саду.

Мои братья... Ко всем им (разумею старших), я относился свысока, а они признавали мое превосходство, великодушно не замечая моего свинства и эгоцентризма в своем трогательном смирении и великодушии. Старший брат Володя явился наиболее трагической жертвой наследственного алкоголизма. Он был прост сердцем, но неистов в страстях, алкоголь делал его безумным. Он погиб от чахотки, будучи уже священником в Москве (если удастся, расскажу особо). Младший мой брат Миша, робкий и кроткий ребенок, также погиб от чахотки (через две недели после Володи) в Ливнах. У меня и сейчас через 40 лет глаза

420

застилает слеза, когда я вспоминаю его святую, прекрасную смерть. Как ангел, он был послан отряхнуть сокровище своей смерти в мою душу, пред тем как уйти из мира. Это было ночью. Явно началась агония. Все встали, окружили его, и отец начал читать отходную (это для всех явилось так естественно). «Это – отходная?» – спросил Миша, и затем начал прощаться со всеми, выразительно каждого целуя. И меня поцеловал так... Он особенно хотел, чтобы я был около него, когда я был полон собой, только собой... Он тихо отошел, и было светло таинство смерти. Руки его, как у чахоточных, были прекрасны своей белизной. Мы вышли в сад с братом Лелей, рассветало, и на сердце была такая небесная музыка, такое торжество, которое дает только смерть ласковая, тихая, верующая, смерть, открывающая небо и ангелов. Да, смерть была наша воспитательница в этом доме, как много было в нем смерти... Впрочем, все это уже было позже, в юношеском возрасте, но и в детстве смерть стояла к нам близко, никогда не отходя. Один за другим умерли два маленьких «кузи» (в честь деда Косьмы Сергеевича). Мама не хотела уступить смерти и после смерти одного Кузи наименовала тем же именем другого ребенка, но умер и этот. Помню ночь с детским мертвым телом в доме, и ее плач, ночные воющие звуки... Это вкралось в сердце каким-то зовом и страхом и грозной памятью о вечности, так же как и когда стояло тело дедушки, то приносились – неизвестно откуда – страшные плачущие и торжественные звуки, которые переворачивали душу. Это черничка Параша читала Псалтырь. Но самая тяжелая рана была смерть коли, прелестного, умного, одаренного мальчика в пятилетнем возрасте, общего любимца, с печатью херувима, предшественника нашего Ивашечки. Он болел горлом и долго боролся с болезнью. Еще накануне смерти отец шутя сказал: «а бутуз бутузит». Явилась надежда. А утром он скончался. Отец неизменно поехал служить свою раннюю службу, он был человек долга. Приехав в церковь сам в слезах, и дьякон в слезах, но стали служить. Никогда не могу забыть этой кончины, даже Ивашечкина кончина ее не изгладила. («Зовы и встречи» в Свете Невечернем). Так он был прекрасен в своей руба-

421

шечке, так истекала слезами его няня Татьяна, так мучительно болело и мое себялюбивое сердце, все горевали. И каждое утро этого трудного лета (я готовился к экзамену, решавшему судьбу мою) начиналось для меня слезами Татьяны и этой мукой о подстреленном младенце. Все это – Ливны. Сокровище моей души. Капли небесной росы, которые падали в себялюбивое, но все же не мертвое сердце и, прожигая его, ложились в него бриллиантами. Сейчас кажется, что все они не для себя умерли, а для меня умирали, как какая-то жертва любви ко мне. И не явится ли за гранью земной жизни явью эта тайна любви...

Но лик жизни нашей был суров и важен. Не раз тогда говорили мы об этом в беседах с мамой: не странно ли? Смерть никого не минует, но почему же тогда, в эти ранние годы, она миновала дома наших сверстников и сродников, но ангел смерти неотступно стоял над нашим домом?

Хочется призвать и другие милые тени, которые одарили меня дарами любви и поэзии: няня Зинаида, которая бдела над нами в наших детских бедах и была такая замечательная рассказчица о своей жизни из крепостного быта. Она и певала нам свои песни из этого прошлого, и это пение ложилось в душу как музыка жизни. Помню оттуда такие бесхитростные слова:

В посиделках девки пряли (2),
Они пряли, веселились, всякая с своим дружкой.

Вдруг мальчишка девке красной (2)

Бросил взор свой распрекрасный,
Что-то на ухо шепнул.

Что шепнул, я не слыхала (2),

Как взглянул я не видала,

Только милая узнала, что он ее сердцу мил...

А дальше следует другая картина:

Как во городе в Орле – в большой колокол звонят.

То Парашу хоронят, А Ванюша-то Параша гробову доску вскрывал,

Сам Парашу целовал.

422

Ты, прости, прости Параша, прости милая моя Не досталась Параша, ты ни мне, никому, Ни злодею моему.

Она рассказывала про крепостной театр, про свою былую жизнь. И сама она как будто не существовала, она была стихией, стихией русской ласки, жалости, любви к нам. И подобной была и другая няня, Елиса-вета, сказочница. Как она умела рассказывать сказки, страшные, фантастические... софийные.

Ливенцы жили, кроме исключений, для нас не существовавших, в великой бедности и убожестве. Это был город не крестьян, людей производительного труда, и не купцов, и не дворян, но мелких мещан, существование которых зависело от случайного барыша и не носило в себе никакой обеспеченности. Это было ниже, чем пролетарии, трясущееся, приниженное существование. Конечно, оно вырабатывало и инстинкт приниженности, было и это, но запечатлелась во мне какая-то смиренная простота, с которой несли свое существование, да кротость. Это то, что я унес со своей родины.

Родина – святыня для всякого и, как таковая, она всегда дорога и прекрасна. И моя родина есть прекрасный дар Божий, благословение и напутствие на всю жизнь. И вот бреду я эту долгую жизнь и внемлю завещанию, и все яснее она раскрывается мне, как первозданная улыбка Софии Божественной, которой она позвала, приласкав меня как младенца, и тихим, тихим шепотом сказала мне свое имя. Этот шепот был тих, и Царица была закутана в рубище поверх своей царственной ризы, но я полюбил ее на всю жизнь и всю жизнь искал встречи с ней, хотел узнать ее имя. В суете жизни я ушел из отчего дома и в погоне за видимым я перестал ощущать невидимое и лишь просвечивающее. Но ложные обманные следы для меня гасли вместе с видимыми красотами, и душа прозревала вечное и нездешнее. И теперь, на дороге иной и новой жизни, я возвращаюсь сердцем на эту мою родину и узнаю ее имя. Узнать его значит перейти в другой мир. Не увидать мне Ливны в этой жизни.

423

Но изломанными и таинственными путями Бог дал мне и вторую родину – Крым, но это не вторая, а тоже единственная, но которая явилась мне в другом образе славы и также с ангелом смерти. Только там родина, где есть смерть. И потому последнее слово о родине – о смерти. Ливны запечатлены и освящены могилами отца и матери. Об этом нужно сказать сердцу.

10. VII.1939

Это было написано около 1¹/₂ года назад, в течение вынужденного досуга на пароходе. А затем жизнь с ее заботами заставила оставить и даже позабыть начатое. И так протекли месяцы и даже полтора года, и не знаю, когда бы я

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org возвратился[3] к тому, что самое важное осмыслить, к своей собственной жизни. Но Господь призвал меня к тому ныне, когда ангел смерти еще раз приблизился ко мне и «он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый». И об этом-то я чувствую ныне долг и призвание поведать...

424

МОЕ БЕЗБОЖИЕ

Я родился и вырос под кровом церковным, и это навсегда определило мою природу. Это есть моя «почвенность» (по крылатому слову Л. А. Зандера), которая повелительно звала и через многие годы призвала меня к алтарю. Рукоположение для меня было не внешним биографическим фактом, которого могло бы и не быть, но внутренним необходимым раскрытием самого моего существа, голосом моей «левитской» крови. Я – левит и все полнее сознаю свое левитство и дорожу им (готов сказать: горжусь им). В русской истории «духовное» сословие, при всех немощах, было, действительно, и наиболее духовным. Религия детства была для меня моей стихией, призванием, влечением, которое никогда меня не оставляло как собственное мое глубинное естество. Я всегда жил в вере и верую. Как же могло случиться, что этой верой моей стало неверие, и я в нем прожил не короткий промежуток времени, но долгие годы, целую часть своей жизни, примерно с 14-го–15-го года жизни, стало быть с отрочества и ранней юности до зрелого возраста, примерно до исполнившегося 30-летия. На это время падают и такие события моей жизни, как вступление в брак, рождение первого ребенка, смерть деда и братьев... Как произошло это отшествие блудного сына из дома отчего, о котором я всегда, хотя сначала и бессознательно, а затем и все более сознательно, тосковал? Как?

Станным образом на этот вопрос, как совершилось это падение, которым, конечно, явилось для меня отпадение от веры, я принужден ответить: никак. На Страшном Суде Христовом обнаружатся все тайники души, и глубины греха, в которых это зародилось, но – дерзну исповедывать наряду с грехом своим и

425

всю, конечно, относительную и ограниченную, малую правду своего безбожия. Постольку в нем совершилась моя в нем трагическая судьба. Впрочем, я привык думать (и постигаю это все глубже), что вообще лишь трагедия, конечно, с ее преодолением, есть единственно достойный «путь спасения». На путях человеческих надлежит быть и «ересям», да откроются искуснейшие в искусстве их, а от искушений не освобожден был праведный Иов и их не отрицался и сам Сын Божий, как Сын Человеческий.

Общий характер моего искушения в неверии и моей трагической в нем судьбе я определил бы как несоответствие между тем образом религиозной жизни, как она определялась для меня тогда в мысли и культуре, и моими личными запросами, отречься от которых я не мог и не хотел, во имя правды, как я ее тогда понимал. Отказаться от ее критерия, вступить на путь внутреннего и внешнего компромисса и тем более остаться в нечувствии его, я также не мог и не хотел. Я должен был вступить в борьбу, но не преклониться перед обывательством и порабощением духовным, которые изнутри проникали поры церковности, меня окружающей. И единственным исходом для этой непримиримости и этого моего разлада явилось... безбожие, уход из отчего дома.

Я повторяю, что никогда не терял веры и не погружался в неверие, но всегда жил верой, сколь бы она ни была слепотствующей. И однако не могу без скорби и раскаяния вспоминать и теперь об этих годах тьмы и отпадения... Как это случилось? Как-то сразу, неприметно, почти как нечто само собою разумеющееся, когда поэзию детства стали вытеснять проза бур-сачества и семинарии. Конечно, здесь в духовном смысле побеждала и гордость, нежелание согласиться, стать как все, разделить общий образ бытия. А его неприятие так легко – с преступной легкостью – переходило в холодность к детским верованиям и их отвержение. Когда же началось сомнение, критическая мысль, рано пробудившаяся, не только перестала удовлетворяться семинарской апологетикой, но и начала ею соблазняться и раздражаться. Семинарская

426

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
учеба непрестанно ставила мысль перед вопросами веры, с которыми не под силу было справиться своими силами, а то, как все это преподавалось, еще более затрудняло мое внутреннее положение. Не буду здесь вспоминать не добрым словом наставников своих, в которых много было доброго и светлого, а если и были слабости, то *temporis vitia, non hominis*. Однако внутренний разлад однажды появившийся, все углублялся и переходил в религиозный кризис. Это было то состояние, которое описано в стихах честного семинариста, прошедшего тем же путем, Н. А. Добролюбова: «Гимнов божественных пение стройное – память минувшего будит во мне». Оно заканчивается словами: «Детскими чувствами вновь я горю, но уста уже не шепчут моления, но рукой я креста не творю». И это противление еще усиливалось чрез принудительное благочестие: продолжительные службы, с «акафистами» и под., вообще обрядовое благочестие уже не удовлетворяло, а только раздражало, мистическая же его сторона все больше переставала для меня существовать.

Здесь вступила в действие еще новая сила – интеллигентщина, – судьба и проклятие нашей родины, искушение от нигилизма, надолго оторвавшее меня от почвы. Естественно и почти без борьбы, потеряв религиозную веру, я сделался «интеллигентом» как в положительном, так и отрицательном смысле: интеллигентности в само собою разумеющимся соединении с нигилизмом. Однако – опять-таки и здесь я должен наряду с исповеданием всей лжи нигилизма – свидетельствовать и о правде моей непримиримости к раболепству и порабощенности всей русской жизни, в частности и церковной, общего характера эпохи. Этого я не мог и не должен был принять, и в этом неприятии я не могу раскаиваться. В известном смысле могу сказать, что его я сохранил «даже и до дня сего» и хочу сохранить до конца своих дней – верность началам свободы и хранения человеческого достоинства с непримиримостью ко всякому «тоталитаризму». Здесь я хочу остаться в рядах русской «прогрессивной» (не хочу отрицаться также и этого слова) общественности.

Однако именно на этих путях, общественного и государственного самоопределения, меня ждали наи-

427

большие трудности и искушения, особенно в отношении к священной царской власти. Здесь я сразу и всецело стал на сторону революции с ее борьбой против «царизма» и «самодержавия». Это явилось совершенно естественным, что с утратой религиозной веры идея священной царской власти с особым почитанием помазанника Божия для меня испарилась и, хуже того, получила отвратительный, невыносимый привкус казенщины, лицемерия, раболепства. Я возненавидел ее в единомыслии со всею русскою революцией и постольку разделяю с нею и весь грех ее перед Россией. Однако грех этот состоит не столько в свободолюбии и в этом смысле революционности, сколько в нигилизме и историческом своеволии, в последнем счете, самочи-нии с отсутствием чувства меры. Во всяком случае, вся гамма монархических чувств, если и была когда-нибудь, хотя бы в малой степени мне знакома, быстро во мне испарилась. Я еще помню из отрочества, как я десятилетним мальчиком горестно переживал убийство Александра II, со всей трогательностью этой кончины, еще усиливавшейся обликом Царя-Освободителя. Однако этот облик был совершенно вытеснен из памяти сердца политическим обликом его преемника и всем общим характером царствования Александра III. Этот режим я переживал со дней юности своей, со всей непримиримостью, и вся связь «православия с самодержавием», как она тогда проявлялась, была для меня великим и непреодолимым соблазном не только политическим, но и религиозным. В таком же настроении встречено было мною и вступление на престол его преемника с речью о «бессмысленных (беспочвенных) мечтаниях» (о конституции). Лишь с началом революции, а вместе с нею всей русской катастрофы, с 1905 года, я стал преодолевать революционные искушения[4], и однако также не в смысле измены сво-

428

боду – повторяю, здесь я не могу и не хочу ничему изменять, но в отношении к идее священной власти, которая получила для меня характер политического апокалипсиса, запредельного метаисторического явления Царствия Христова на земле. Эту свою тоску о «Белом Царе» и любовь к нему я выразил в диалоге «Ночь», написанном в 1918 году уже после падения царской власти. Однажды, всего на краткое мгновение, мелькнуло предо мною ее мистическое видение. Это было при встрече Государя. Я влюбился тогда в образ Государя и с тех

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
пор носил его в сердце, но это была – увы! – трагическая любовь: «белый царь» был в самом черном окружении, чрез которое он так и не мог прорваться до самого конца своего царствования. Как трагично переживал я надвигающуюся революцию и отречение от престола, как я предвидел с самого этого дня всю трагическую судьбу и Государя и его семейства. Долгое время я бредил мыслью о личной встрече с Государем, в которой бы хотел выразить ему все царелюбивые, но и свободолюбивые свои идеи и молить его о спасении России. Но это был только мечтательный бред, которому не соответствовала никакая действительность. История уже сказала свой приговор. То был мой личный апокалипсис – был и есть, – но историческая и церковная действительность – увы! – были тогда страшны, но не апокалиптичны в смысле свершений, а только в смысле трагических путей своих, которыми и пошла чрез революцию в советчину, к дальнейшим еще не явленным и неразгаданным судьбам России.

Возвращаясь к своим собственным судьбам в «интеллигентине». Я оказался ею отравлен чрез такое привитие этого яда, которому я бессилён был оказать противодействие[5]. Рок мой состоял в том, что в том возрасте, когда во мне пробудилась критическая мысль, я находился в среде некультурной или, лучше сказать внекультурной, и это делало меня, в известной степени, беззащитным перед ядами интеллигент –

429

щины, но вместе и лишенным ее благ и вообще культурного воспитания. Я находился, в известном смысле, в состоянии первоначальной невинности, святого варварства. Когда же столкнулся с ревизионным сомнением, которое порождалось во имя культуры и свободы, я оказался пред ним совершенно беззащитным да и обнаженным. Иной культуры, кроме интеллигентской, в ее довольно упрощенной форме политической революционности (но даже еще не социальной) я не знал. В этом отношении моя личная судьба в безбожии все-таки отличается от судеб других моих спутников жизни, которые, происходя из культурной среды (Водовозов, Струве), могли быть и по-иному ответственны за свое мировоззрение. Я оказался отрочески беспомощен перед неверием и в наивности мог считать (на фоне, конечно, и своего собственного отроческого самомнения), что оно есть единственно возможная и существующая форма мировоззрения для умных людей. Мне нечего было противопоставить и тем защититься от нигилизма. При этом те, довольно примитивные, способы апологетики, вместе с неудовлетворявшими меня эстетическими формами, способны были содействовать этому переходу от православия к... нигилизму. Словом, он совершался как-то в кредит, умственно безболезненно, ребячески. Вероятно, я сразу испугался твердыни нигилизма в его «научности», а вместе с тем сразу почувствовал себя польщенным тем, чтобы быть «умным» в собственных глазах. В этом, повторяю, была своя правда и честность, искание истины, хотя и беспомощное и ребяческое. Я сдал позиции веры, не защищая. Впрочем, моя вера и не была никогда ранее (да и не могла быть по моему возрасту) таким мировоззрением, которое допускало бы для себя и интеллектуальную защиту. Она была для меня жизнью, мироощущением, гораздо больше, чем учением, хотя, конечно, св. Евангелие, некоторые жития святых (например, Марии Египетской) трогали сердце и исторгали из него сладкие звуки, но это было заглушено Мефистофельским шипением нигилизма. Дальше же с раз принятой установкой оно стало уже само собой развиваться и укрепляться вместе с моим соб-

430

ственным развитием, умственным и научным, протекавшим притом в интеллигентской среде, которой не были свойственны религиозные переживания и во-прошания, но, напротив, религиозный нигилизм являлся само собою разумеющейся аксиомой мировоззрения. Так продолжалось долгие годы, доколе не пришло время прорасти зерну моей собственной души, и этот росток властно проложил себе путь в чуждой и враждебной среде. Сейчас мне самому является чем-то для себя уничтожительным, а вместе и непонятным, как мог я так долго духовно спать или находиться в духовно обморочном состоянии. Этот период религиозной пустоты представляется мне сейчас самым тяжелым временем моей жизни именно по своей религиозной бессознательности. Очевидно, мне предстояло изжить до дна всю пустоту интеллигентщины и нигилизма, со всей силой удариться об эту каменную стену, отчего почувствовалась, наконец, невыносимая боль. Теперь, озирая свою жизнь уже из начала 8-го десятилетия, зная ее долготу, я вижу, что темпы ее свершений вообще были соразмерны этой продолжительности. Для того чтобы пережить данное духовное состояние в пропорциях долголетней жизни, очевидно, соответствовала и большая

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
замедленность духовных процессов, которая не соответствовала бы жизни более краткой[6].

Однако если я воспринял нигилизм без боя, это не значило, чтобы я это пережил безболезненно. Совсем напротив, теперь я вижу, как я никогда не мирился с ним, нося его как платье с чужого плеча, доколе не найдено было мною собственное. Да и вообще это мой переход не от веры к неверию, но с одной своей веры к другой, чужой и пустой, но все-таки вере, имеющей для себя свои собственные святыни. Эта верность

431

вере, призвание к вере и жизнь по вере (если и греховная даже в отношении к ней, то во всяком случае судимая ее собственным, имманентным судом) – есть основной факт моей жизни, который мне хотелось бы установить и утвердить именно пред лицом моего неверия. Человек есть вообще верующее существо, призванное к вере и к жизни по вере. Но не все сознают это с равной степенью ясности. Для меня же это открылось с такой полной очевидностью именно потому, что, имея, может быть, по левитству своему, особую призванность к вере, в свете ее, загоревшемся во мне, и на протяжении всей жизни в вере, являюсь способен ощутить в себе и оценить во всей силе этот основной факт веры и неверия, познать как особый образ или разновидность веры. Такова была психология моего неверия. Дважды я переживал потерю веры, как общий жизненный кризис, настолько, что однажды во мне раздалась мысль о самоубийстве на религиозной почве, то есть утрачивался и смысл жизни вместе с потерей веры. Этого не было в отрочестве в ранний период неверия, но проявилось с неожиданной и большой силой на грани юности. Бессознательное религиозное вдохновение подавалось мне даже в период безверия, веяние смерти, ее благодать с откровением потустороннего мира. Наряду с этим и самый характер моего неверия не был состоянием религиозной пустоты и индифферентизма, но вера в «прогресс» человечества и под. Она включала не только определенную этику, но и эсхатологию. Мое неверие было существенно эсхатологично. Оно знало свои восторги веры. Я вспоминаю такие минуты некоего как бы пророческого вдохновения, когда свои видения грядущего человеческого прогресса я невольно облакал в образы жизни в Боге: люди будут боги, говорил я себе (кажется и другим) с юным горением сердца, и, разумеется, без всякого оттенка богоборчества или кощунства. Напротив, то было бессознательное ведение истины бо-гочеловечества, которое во мне всегда просилось наружу, искало для себя выхода. Но выход этот должен быть найден достойно, а этого я не умею найти. И так создавался духовный плен. Найти же себя в правосла-

432

вии, которое было для меня родным, мешал, кроме моей юношеской гордости, его «зрак раба», культурное убожество и историческая бескрылость «исторической церкви», пойти же на открытую борьбу с интеллигентщиной не находилось сил. Таким образом я оказался уже в начале своего жизненного пути между двух миров, не будучи способен слиться ни с одним из них, двух станов гость случайный. Так предопределилась судьба всей моей жизни, пока еще в смутных первообразах: чужой среди своих, свой среди чужих, а в сущности нигде не свой... Один в поле не воин, но всегда и везде один...

433

МОЕ РУКОПОЛОЖЕНИЕ

(24 года)

Игорю Платоновичу Демидову

Я родился в семье священника, во мне течет ле-витская кровь шести поколений. Я вырос у храма Преп. Сергия, благодатно обвеянный его молитвой и звоном. Мои впечатления детства эстетические, моральные, бытовые связаны с жизнью этого храма[7]. Под кровом его горело сердце молитвенным восторгом и орошалось похоронными слезами. Примерно до 12–13 лет я был верным сыном Церкви по рождению и воспитанию. Учился в духовной школе, сначала в Духовном училище (четырёхклассном) в родном городе Ливнах, а затем в Орловской духовной семинарии (3 года). Уже в самом почти начале периода, в первом – втором классе семинарии наступил религиозный кризис, который – правда, хотя и с болью, но без трагедии – закончился утратой религиозной

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
веры на долгие, долгие годы, и с 14 лет, примерно до 30, блудный сын удалился в страну далеку, к горю и соблазну, вероятно, многих, но прежде всего, конечно, родителей. Мне было что терять, а я это отдавал как будто легко, без борьбы (хотя были даже мысли о самоубийстве от безбожия). Начальный толчок, по-видимому, давало ребяческое самолюбие: я был захвален в школе, однако тем чувствительней были для меня его уколы в бурсацкой грубости. Однако это не было серьезно. Гораздо

434

серьезнее были молодые вопрошания и сомнения, на которые некому было ответить. Последние к тому же поддерживались попутными влияниями и встречами, главные же и больше всего той интеллигентщиной, жертвой которой – и лично, и исторически – сделался и я вместе с бесчисленными братьями своими, вместе со всей Россией. То была общая судьба «гуманистического» человечества, донныне изживаемая, соблазн человекобожия. Однако правда моего протеста против окружавшего меня мира состояла в том духе свободолюбия, который отвращался от раболепства, царившего в мире «духовном». (За пределы же его мой опыт тогда еще не простирался.) С ним я не хотел и не мог (и не должен был) примириться, от него я бежал, спасая свое духовное существо, и это свое бегство и посейчас считаю оправданным. К этому присоединилось и то, что вместе с потерей религиозной веры я, естественно, как бы автоматически, усвоил господствующие в интеллигенции революционные настроения, без определенной партийности, но с решительной непримиримостью к монархизму, господствовавшему, по крайней мере, в нашей «духовной» среде. Одним словом, со мной повторилось – в этой стадии жизни – то, что было с моими предшественниками по семинарской школе: Чернышевским, Добролюбовым и др. Я стал жертвой мрачного революционного нигилизма (хотя он всегда соединялся с любовью к искусству и литературе, меня спасавшими). К этому надо присоединить и то, что общая атмосфера духовной школы бессильна была противопоставить этому нигилизму достаточное противодействие. Поддерживаемая привычным бытом и принуждением, она становилась все более невыносимой для гордого, самомыслящего, но и искреннего в своем свободолюбии и правдолюбии мальчика.

Семинарское начальство прочило меня тогда в студенты Духовной академии, для меня же единственным путем спасения тогда являлось: бежать из семинарии, не откладывая и без оглядки. Куда? Конечно, в светскую школу – в университет. Зачем? «Приносить пользу», служить человечеству, прогрессу, научной

435

мысли, к которой всегда лежала моя душа. Исполнение этого плана было не легко, оно требовало жертв и не только от меня самого, но и от моих близких, то есть, прежде всего, от родителей (о чем я меньше всего думал в молодом своем эгоизме). Тем не менее, летом 1888 года я оставил Орловскую семинарию и, после двухлетнего пребывания в Елецкой гимназии, осенью 1890 года вступил в Московский университет, на юридический факультет. В этом выборе я явился также жертвой интеллигентской стадности, пойдя вопреки собственному влечению. Меня влекла область филологии, философии, литературы, я же попал на чуждый мне юридический факультет в известном смысле для того, чтобы тем спасти отечество от царской тирании, конечно, идейно. А для этого надо было посвятить себя социальным наукам, как каторжник к тачке, привязав себя к политической экономии. К прохождению чрез это чистилище я сам обрек себя и тем искупил свой грех блудного сына. Я вступил в Университет с заранее определенным намерением – посвятить себя мне чуждой науке, и этот план я и исполнил, достигнув оставления при университете на этой кафедре (добрейшим и милейшим проф. А. И. Чупровым, сродным мне по судьбе: это был тоже семинарист, вспоминавший о своем прошлом, как о потерянном рае, но ему не суждено было до конца пройти интеллигентскую пустыню). Я хорошо представляю себе все его волнение, которое он испытал бы, увидя меня в рясе, но он до этого скандала не дожил.

Итак, моя мысль двигалась на путях социального и, разумеется, социалистического мировоззрения. Последовательно и, в известной мере, как бы автоматически, переходил от одного его образа к другому, чтобы, казалось, наконец, закрепиться в марксизме, который шел ко мне, как к корове седло. Научная университетская командировка (1898–1900) повела меня конечно прежде всего в Германию, как страну социал-демократии и марксизма. Но здесь-то, наперекор ожиданиям, начались быстрые разочарования и мое «мировоззрение» стало трещать по всем швам. В результате, когда я вернулся

436

номии», я был в состоянии полной резиньяции, в которой сначала робко и неуверенно, а затем все победнее стал звучать голос религиозной веры. Ее я и начал исповедовать с тех пор в своих сочинениях, примерно начиная с 1901–1902 года, к удивлению и негодованию своих вчерашних единомышленников. Но, в сущности, даже в состоянии духовного одичания в марксизме, я всегда религиозно тосковал, никогда не был равнодушен к вере. Сперва верил в земной рай, но трепетно, иногда со слезами. Потом же, начиная с известного момента, когда я сам себе это позволил и решился исповедовать, я быстро, резко, решительно пошел прямо на родину духовную из страны далекой: вернувшись к вере в «личного» Бога (вместо безличного идола прогресса), я поверил во Христа, которого в детстве возлюбил и носил в сердце, а затем и в «Православии», меня повлекло в родную Церковь властно и неудержимо. Однако прошли еще годы, в которые эта мысль и желание о возвращении в дом Отчий во мне оставались еще бессильны, сокровенным страданием было оплачиваемо мое возвращение. Оно совершалось конечно не только в сердце и в жизни, но и в мысли, из социолога я становился богословом (благодарно отмечу духовное влияние Достоевского и Вл. Соловьева в эти годы). Но одновременно в душе поднималось и желание, которое тайно тоже никогда не угасало, полного уже возвращения в отчий дом, с принятием священства. В эти годы я называл себя иногда в беседе с друзьями – «изменником алтаря». Мне становилось недостаточно смены «мировоззрения», «левитская» моя кровь говорила все властнее и душа жаждала священства, рвалась к алтарю[8]. (Кн. Евг. Н. Трубецкой однажды сказал мне, что по его ощущению я «рожден в епитрахили».)

Однако на этом пути стояли разные препятствия. Первое из них – это привычки и предрассудки среды и даже близких. Если там, откуда я ушел, в среде «духовной», принятие сана в известный момент жизни являлось шагом, само собою разумеющимся и

437

бесспорным, то в среде интеллигентской, где безбожие столь же естественно подразумевалось, принятие священства, по крайней мере в состоянии профессора Московского университета, доктора политической экономии и проч., являлось скандалом, сумасшествием, или юродством и, во всяком случае, самоисключением из просвещенной среды. На это надо было решиться, и это тоже потребовало времени. На это я также решился заведомо пойти, да, впрочем, и времена уже становились не те. Впрочем, не знаю, как бы я сам справился со всеми личными трудностями, но здесь меня явно поддерживала рука Божия. В начале 1918 года в Москве было получено известие об обстреле Ялты и вообще южного крымского побережья, где находилась моя семья, большевиками, и, конечно, произошел перерыв всяких сношений с ней. Были основания опасаться, что вся она погибла. Я оставался один пред лицом Божиим. И тогда я почувствовал, что меня уже ничто не удерживает и нет оснований откладывать то, что я вынашивал в душе, по крайней мере десятилетие. Но существовало для меня еще препятствие, силами человеческими также непреодолимое: то была связь православия с самодержавием, приводившая к униженной и вредоносной зависимости церкви от государства и своеобразного цезарепапизма. Через это я не мог перешагнуть, не хотел и не должен был. Это препятствие внезапно отпало в 1917 году с революцией: церковь оказалась свободна, из государственной она стала гонимой. На Всероссийском соборе (которого я был членом) Церковь, в лице Патриарха Тихона, получила достойного и неустрашимого главу. Собор же явился каноническим органом церковного управления. Вместе с Церковью и я получил для себя свободу действий. Поэтому я также не должен был терять времени, чтобы им воспользоваться пред лицом грозных грядущих событий. Решение мною было принято, и нельзя было его откладывать. К тому же я получил от кн. Евг. Н. Трубецкого однажды поздним вечером дружеское извещение по телефону, в котором он меня на латинском (!) языке предупредил, что я этой ночью буду арестован. Но когда я после этого лег

438

спать, то почувствовал себя больным, поднялась температура с болями. Утром доктор определил припадок аппендицита, хотя и настаивал на немедленной операции. Из своей квартиры мне надо было скрываться (хотя предупреждение

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
Е. Н. и не исполнилось). Кое-как оправившись от припадка, я начал действовать: сначала обратился к преосв. Феодору Волоколамскому, одному из московских викариев, лично меня знавшему (и рукоположившему моего друга проф. о. Павла Флоренского), с вопросом, согласится ли он меня рукоположить в иереи. После его согласия я объяснил ему всю срочность этого дела, ввиду моей угрожаемости (поэтому он от первоначального своего предложения провести некоторое время во диаконстве, узнав мое положение, и сам отказался). После этого я уже обратился к самому Патриарху Тихону с прошением о рукоположении, на что Святейший милостиво и без всяких возражений и согласился. (Он сказал мне, смеясь, что «вы в сюртуке нам нужнее, чем в рясе».) Я и не подумал, что Патриарх мог иметь желание сам совершить мое рукоположение, когда просил его поручить это преосв. Феодору. При этом я хотел избежать шума, ввиду моего положения. В смиренности и доброте своей Патриарх не возразил против этого, тем более, что времени терять не приходилось, а между тем в ближайшее воскресенье (Троицын день) Патриарх должен был отъехать в Петербург и, следовательно, отсутствовать из Москвы. Условились, что это решение до последнего момента останется в тайне (хотя оно, конечно, просочилось и на соборе, да и в сам Патриарх в Петербурге в самый Троицын день, говорил в своих кругах, что сегодня их ждет радость, таково было его любящее и благословляющее слово[9]. Итак, наконец было решено: в Троицын день имело состояться мое рукоположение в диаконы (в Даниловом монастыре, где пребывал преосв. Фео-дор), а в день Св. Духа в храме кладбища Св. Духа в иереи. Разумеется, я не дерзнул бы сам избирать такие

439

сроки для своего рукоположения, они оказались предуказанными свыше, и по сему я всегда переживаю эти великие и священные дни, как светлое знамение милости Божией[10].

Итак, решено. Но от Светлого Праздника отделяла меня еще Страстная седмица, дни духовного приготовления. Еще никто не знал о моем решении, и я сам извещал о том лишь своих ближайших друзей. То было как бы радостное прощание с ними пред моим браком духовным, а вместе и некое торжественное свидание – перед смертью. Я храню в сердце священные воспоминания об этих встречах: здесь были и слезы радости, и волнения, и слова любви, и дружеского напутствия[11]. Дома же я был один с мальчиком-сыном,

440

который явился для меня огромной и радостной поддержкой в эти дни (нас разделило мое изгнание, и не знаю, увижу ли его в этой жизни). Страстная седмица перед рукоположением состояла для меня в умирании для этой жизни, которое началось для меня с принятием моего решения. Не знаю даже как, но в моем сознании отпечатлелось ясное понимание, с каждым днем все возрастающее и крепнувшее, что это умирание есть вольное, но и неизбежное, от которого нельзя уйти, но этого ухода и не должно желать. Это была как бы длительная агония, каждый день приносил новые переживания, и то были муки, которых невозможно описать. Но не было ни одного мгновения, когда мелькнула хотя бы мысль об отступлении; однако при этом я шел, имея пред собой как будто какую-то каменную стену, упираясь в тупик. Могу сравнить это только с некоторыми состояниями умирания во время моей последней болезни, хотя, конечно, тогда они не сопровождались физическим страданием (если не считать обычной для меня бессонницы). Это умирание явилось для меня тогда совершенно необходимым и важным, каким-то духовным заданием, которого я не могу миновать, как некоей духовной очевидности. Оно для меня неожиданно и произвольно возникло и как-то тлело и, тлея, жгло меня. Эта мука духовного рождения была великая милость Божия. Дорого бы я дал, чтобы теперь увидеть эти мои, конечно, погибшие записи...

Но, миновав и эти дни умирания, 9-го июня, в канун Троицына дня, я отправился в Данилов монастырь, неся с собой узел с духовным платьем (обратно в нем же принес я уже свою сюртучную пару), к преосв. Феодору, там я и ночевал. Москвичи знают этот монастырь с кладбищем, в котором покоится прах Хомякова, Гоголя, и др. В день Св. Троицы я был рукоположен в диакона. Если можно выражать невыразимое, то я скажу, что это первое диаконское посвящение пережито мною было как самое огненное. Самым в нем потрясающим было, конечно, первое прохождение чрез царские врата и приближение к св. престолу. Это было, как прохождение чрез огонь, опаляющее, просветляю-

щее и перерождающее. То было вступление в иной мир, в небесное царство. Это явилось для меня началом нового состояния моего бытия, в котором с тех пор и донныне пребываю... Когда я шел домой по большевистской Москве в рясе, вероятно, с явной непривычностью нового одеяния, я не услышал к себе ни одного грубого слова и не встретил грубого взгляда. Только одна девочка в Замоскворечье приветливо мне сказала: Здравствуйте, батюшка! И буквально то же самое повторилось и на следующий день, когда я возвращался уже священником. Тогда же моя кухарка, чудная Аннушка, которая вообще все время относилась к происходящему с молчаливым сочувствием, ко мне подошла за благословением уже со словами: благословите, батюшка, и первая тогда его получила (вслед же за нею и швейцар нашего дома).

В день Св. Духа еп. Феодор имел служить в кладбищенском храме Св. Духа, и туда шли мы из Данилова монастыря крестным ходом, я шел в стихаре с дьяконской свечой рядом с епископом. То было немалое расстояние, но прошли его спокойно и беспрепятственно. К рукоположению пришли в храм и друзья мои, бывшие тогда в Москве. Вспоминаю прежде всего о. Павла Флоренского (со своим Васей), участвовавшего и в литургии, М. А. Новоселова, Н. Н. Прейса (f), Вяч. Ив. Иванова, Н. А. Бердяева, П. Б. Струве (?), кн. Е. Н. Трубецкого, Гр. А. Рачинского, В. К. Хорошко, А. С. Глинку (Волжского), М. О. Гершензона, Л. И. Шес-това, Е. А. Аскольдову и др. Все они после службы участвовали и в дружеском чаепитии, духовенством храма для нас радушно устроенном (тогда это было не легко, как и теперь). Переживания этого рукоположения, конечно, еще более неопишутемы, чем диаконского – «Удобнее молчание». Епископ Феодор сказал мне в алтаре слово, которое тогда меня потрясло, хотя сейчас я не могу восстановить его содержания. Была общая радость, и сам я испытывал какое-то спокойное ликование, чувство вечности. Умирание миновало, как проходит скорбь Страстных дней в свете Пасхальном. То, что я переживал тогда, и была та Пасхальная радость.

Первые свои литургии я совершал в Богородичном храме Всех Скорбящих Радости, в детском приюте на Зубовском бульваре, где и жил, вместе и под руководством о. Павла Флоренского, который для этого и оставался несколько дней в Москве и после моего посвящения. Приписан же я был к храму Ильи Обыденного в Обыденном переулке, близ Храма Спасителя, где также успел совершить несколько литургий до своего отъезда из Москвы.

Однако надлежало мне в новом образе встретиться с семьей, о которой я тогда уже получил вести. Поэтому чрез две недели после рукоположения, с благословения Патриарха, я выехал в Крым для свидания с семьей на месячный срок, по истечении которого предполагал вернуться к месту своего прежнего, профессорского, и нового, иерейского, служения. Однако мне вовсе не суждено было вернуться в Москву. Мне пришлось первый раз переехать под Курском границу немецкой оккупации, без паспорта, но благополучно ее миновав. Встретил благополучно своих и пробыл законный месяц с ними. Затем я сделал попытку возвращаться в Москву чрез Киев. Но отсюда в течение целого месяца мне это не удалось: обстоятельства изменились. Так я и принужден был возвратиться в Крым и там остался до начала 1923 года, когда оттуда был выслан за границу навсегда. Из числа же профессоров университета я был исключен за принятие священства дважды: из Московского – немедленно по рукоположении, из Симферопольского – по занятии его большевиками.

Слава Богу за все.

11/24–12/25.5.1942

МОЯ ЖИЗНЬ В ПРАВОСЛАВИИ И В СВЯЩЕНСТВЕ

Мое основное чувство этой жизни определяется, с одной стороны, моей безграничной церковностью и верностью Церкви, – в ее конкретном образе Православия, на служение которому я отдал все свои силы, с того времени, как возвратился в церковь, но, с другой, чувством моей духовной свободы и ее долгом (если так можно сказать) как основным условием и самой стихией моей церковности: «где Дух Господень, там свобода», – этот высший дар Божий и... служение. И то и другое для меня тождественно: грехи против свободы суть

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
грехи против православия и церкви, и наоборот, духовное самопорабощение, во имя чего бы оно ни принималось, есть хула на Духа Св., которая не простится ни в сем веке, ни в будущем. И вот это-то тождество устраняло во мне «православизм» (в качестве и вместо православия), рабство и фетишизм, а вместе вносило и известный релятивизм, в отношении ко всей церковной конкретности. А во всей совокупности такое чувство жизни отделяло меня от той церковной среды, в которой я жил и которая была проникнута абсолютизированием относительного, угашением духа и его творческой стихии ради вещелю-бия и властолюбия, которому соответствовало на другой стороне раболепство. Вот почему я всегда – и могу сказать, чем дальше, тем больше чувствовал себя чужим среди своих: «во своя прииде, и свои Его не при-яша». Так было в земной жизни Господа в его отношении к хранителям закона, который Он пришел не нарушить, но исполнить. И в этом первообразе почерпает вдохновение всякая живая душа. Однако спешу оговориться, что эта чуждость происходила не из само-

444

мнения и притязательности, но из глубочайшей любви и верности церковной, которая всяческий компромисс и рабство ощущает как измену. Любовь к Церкви рождает и предполагает послушание, но послушание любви, а не страха, почитания, а не лести, и всегда остаешься здесь в неустойчивом равновесии, в страхе оступиться то в ту, то в другую сторону. Таково было и есть мое основное чувство жизни в Церкви. И все-таки я должен сознаться, что по личной слабости своего характера, застенчивости, доходящей до робости, до «страха иудейска», я считаю, что я все-таки грешил скорее в сторону самопорабощения, чем дерзновения (как это, может быть, казалось иным в соответствии сложившейся моей репутации «еретика»). Однако должен прибавить, что если я, может быть, рабствовал и малодушествовал в церковной эмпирии, ради «экономии» и мира, во избежание мелких трений и под., то совесть меня не упрекает в уступках в той области, к которой я чувствую себя наиболее призванным и ответственным: в богословствовании и проповеди. Здесь я был всегда самим собой и хочу себе остаться верен до смерти[12]. Это чувство исторического релятивизма, которое у меня есть в отношении к исторической церкви, существующей, развивающейся и определяющейся в пространстве и времени, совершенно не связано с каким-то пренебрежением или недооценкой важности, ценности и необходимости ее форм и установлений, каким-то своеволием или снобизмом. Чувствую глубокое отвращение и к тому и другому в своей инстинктивной, наследственной, но и сознательной законопослушности, а главное, в том мистическом реализме, которым мое отношение к Церкви определяется. Для меня мистическое содержание исторических форм от них неотделимо, оно в такой мере самоочевидно и подлинно, что не является даже вопроса о возможности их разделения всяческим иконоборством. Однако это не мешает и не противоре-

445

чит различению в исторической оболочке элементов разной важности и вообще вносит в их расценку и исторический коэффициент. Церковная непогрешимость в православии не должна выражаться в абсолютизировании всех конкретных форм, чем, однако, вовсе не подрывается их устойчивость и ценность, как и не ослабляется законопослушность во всякой области церковной. Но это не только не устраняет, но делает необходимым и даже по-своему обязательным сознательно критическое различение, которое не есть отрицательная критика, однако, в определенных случаях может и даже должно приводить и к отвержению тех или иных форм. От своеволия же здесь достаточно предохраняет любовь к Церкви, я сказал бы, инстинкт церковности, который склоняет всегда уступить «преданию» больше, а не меньше. И во всяком случае разрыв с ним в большом или малом является болезненным, если не прямо трагичным, в зависимости от данного частного случая. Такова вообще психология всякого церковного раскола.

И прежде всего основной вопрос: насколько и в каком смысле православие может рассматриваться как находящееся в исключительном обладании церковности, настолько даже, что не-православие или вне – православие есть и не-церковь (не говоря уже о том сквернословии относительно инославия, которое у нас в ходу и является признаком хорошего православного тона, самосвидетельством ревности о православии)? Церковь, как тело Христово, конечно, не совпадает с вероисповедными границами, она не ограничивается и православием. Истинные христиане существуют во всем христианском мире (не будем сейчас говорить о не-христианах, «с которыми нет и не может быть в

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org этой жизни молитвенного общения»). Эту христианскую близость и вселенское единение во Христе я опытно познал в «экуменическом» общении. Последнее есть не столько вольность, о которой всегда надо помнить: «блюдите, как опасно ходите», но и – христианское откровение, которое обязывает (конечно, не к церковному безразличию – о, нет! – но к церковному расширению сердец). Помимо

446

того, что в православии я знаю и исповедую его чудесную – отнюдь не человеческим блюдением, но Бо-жией милостью – неповрежденность, чистоту и истинность, но, кроме того, оно для меня есть и свое родное. Это, психологизм, заведомый, хотя и неустрашимый. Ведь правду сказать, нам столь близко не столько православие вообще, как вселенское, но именно наше русское, родное [13]. Таков невольный провинциализм всего родного и дорогого, именно как близкого. Он преодолевается с годами и опытом «экуменизма», но этого не приходится особенно чураться, хотя и нет основания этим превозноситься. Родную мать можно и должно любить как родную, даже если знать, что она есть единственная на свете любовь только для меня, а не для других, у которых тоже есть свои родные матери. Этот психологизм полагает естественную границу в религиозно-практическом общении, он входит в конкретность церковности, хотя сам по себе не дает оправдания исключительности. Православие является не только истинною, неповрежденного Церковью в своей мистической и догматической сущности, но оно, как и все другие исповедания, есть и церковь историческая, которая отпечатлевает характер ее истории. Но в этом выражается и его относительность и по-своему ограниченность, ибо «дары различны и служения тоже». Римскому чувству церковности, которое, хотя и менее последовательно и решительно, – увы! – усвоено фактически и православием (точнее, православизмом), свойственно абсолютизировать относительное и историческое. Отсюда произтекает и вероисповедная исключительность, которая не признает права на существование исторических различий в Церкви. История же, однако, ведет к их постепенному сглаживанию и умягчению, по крайней мере, физическому. Это относится к области церковной мысли, научной и богословской, а также и практического социального хрис-

447

тианства, которое становится все больше некоей социально-экуменической сверхисповедной, католической Церковью, наряду с разными вероисповеданиями. Этот историзм христианства обнажается в эпохи исторических кризисов, подобным той, какую мы ныне переживаем. В частности и я, приняв священство в самом начале русского большевизма, оказался пред лицом тех великих испытаний и потрясений в жизни Церкви, которые она с собою принесла. Вся сила и глубина откровения о Церкви, которое дано мне было в этот брачный час моего священства, соединилась с исторической проверкой церковной конкретности, оказавшейся под ударами вражескими. Я должен сказать по совести, никогда и ни в какой мере я не колебался в верности своему священству и могу по-своему применить к себе слова апостола, что я был иудей из иудеев, но происходившее кругом меня все решительнее научило меня постигать историческую относительность внешних форм. Это не значит, что их можно бросать или менять своевольно, но они сами нуждаются в корректуре относительности. Особенно это относится к иерархическому устройению в Церкви. С иерархией связана sacramентально-мистическая жизнь Церкви, и это для меня есть столь же незыблемая истина и непоколебимая действительность, как свет дневной. Но уже в вопросе об изначальномTM епископата, как непосредственного «апостольского преемства», я не считаю себя связанным (как, впрочем, и не я один) исторически с недоказуемым постулатом, который получил фактическую силу догмата. Хотя от этого для меня никогда не колеблется мистическая подлинность епископского сана и вообще сила хиротонии. Но еще менее умаляется сила и значение всеобщего царственного священства, как и личного духовного христианства. И я должен поведать о своем искушении в этой области, которое я пережил в страдные дни своего крымского сидения под большевиками во время самого первого и разрушительного гонения на Церковь в России. Пред лицом страшного разрыва церковной организации, под ударами этого гонения, так же, как и внутреннего распада, выразившегося в воз-

448

никновении живой церкви, я испытал чувство страшной ее беззащитности и

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org дезорганизованности, неготовности к борьбе. (Теперь я думаю, что духовная, мистическая готовность ее оказалась гораздо большей, чем тогда казалось [14].) Но тогда пред лицом этого исторического экзамена для русского Православия – вопреки своему, скорее славянофильствующему, прошлому – я обратил свои упования к Риму. Во мне началась общая проверка церковного мировоззрения в отношении к земному устройству Церкви и папскому главенству. В это время в Ялте жил один литовский священник, гонимый поляками, добрый католик, убежденный и просвещенный папист, прошедший богословскую школу в Риме. Он снабжал меня книгами, которые как раз мне были нужны. Мои собственные занятия филиоквистическим догматом (по *miŋne'io*) склоняли меня скорее в сторону западного его понимания, которое, впрочем, позднее я совершенно преодолел, однако навсегда освободившись от рутинного (и в сущности неправославного) фотианства. (Итоги этой внутренней догматической борьбы даны в моем «Утешителе»). Под совокупным впечатлением церковной действительности, как и моего собственного изучения, я молча, никому не ведомо, внутренне стал все более определяться к католичеству (этот уклон моей мысли и выразился в ненапечатанных, конечно, моих диалогах: «У стен Херсониса» [15]). В это время произошла моя высылка за границу (в 1923 г.). Насколько я ранее отрицался эмиграции, бывшей при Врангеле, настолько же я ее внутренне принял теперь, когда я начинал видеть свою миссию в исповедании своей новой веры. Излишне говорить, что эта болезнь была мною принята, с одной стороны, силою впечатлений жизни (в частности, и католической пропаганды в Константинополе), частью же внутреннего самосознания. Однако я не раскаиваюсь в своем увлечении,

449

считая его для себя и диалектически неизбежным этапом своего церковного самосознания и нахожу его для себя даже спасительным, хотя бы в качестве предохранительной прививки. Главное, я – думаю навсегда – потерял к папизму духовный вкус. Догматическая же его мотивировка была для меня недостаточно убедительна и казалась натянутой [16]. Мое отношение к католичеству в начале являлось все-таки в известной степени не православием, а право-славизмом. Я находился еще слишком под влиянием господствующих предубеждений, которые нужно было преодолеть, их изжив. Из этого молчаливого поединка с папизмом, в котором я сохранил все уважение к западному христианству, я вышел на широкую дорогу экуменического православия, освобожденного от провинциализма. Нахожу и теперь, что моя критика православного быта в эту эпоху вместе с апологией католичества была горяча, красноречива и конечно до конца искренна. Вообще время для справедливого взаимного отношения между восточным и западным христианством, основывающегося на признании и уважении каждого из них в его своеобразии, еще не настало, и я со своей стороны никак не хотел бы углублять эту историческую пропасть, в которой вижу прежде всего огромный, исторически возникший психологизм. Живая церковность имеет задачей любви церковной во взаимном общении засыпать эту пропасть, и тем подготовить почву для воссоединения «церквей».

Однако здесь мне предстоит сделать одно признание, которое, я знаю, является общим для многих, если не большинства православного (по крайней мере) клира, и которое для меня лично особенно обострилось после моего искушения папизмом. Православие, сначала в Византии, а затем и на русском востоке, в Московской Церкви, страдает также папизмом, только не сознательно-догматическим, ответственно

450

точным и явным, но фактическим, психологическим. Православие есть соборность, а не епископат, тело церковное, а не глава или главы только. Уже по этому своему характеру оно не является злоупотреблением, пародией, я готов сказать карикатурой на Римское церковное самовластие и самодержавие. Я понимаю тот особый гиперболизм, который усвоен в русской Церкви (а также и в славянских Церквях) в отношении к епископату. К счастью, болезнь эта кажется гораздо слабее в греческой Церкви, родине Православия, хотя здесь это и соединяется с известной халатностью церковной, наше благочестие шокирующей. Это признание я имею сделать здесь, как голос из могилы, который, может быть, прозвучит через это более ответственно и без личных приражений. Если я при жизни в себе это чувствуя как молчаливое страдание, это мое молчание объясняется, кроме моего малодушия, отвращением перед мелким скандалом, в который неизбежно облеклось бы такое дело маленького русского Лютера. Однако здесь содержится менее всего лютеранства, желания

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
колебать благодатную силу епископата; она для меня есть мистическая реальность, которая имеет всю очевидность, как я раньше сказал, дневного света. Мое «лютеранство» выступает не против, но за епископат, стремится восстановить его в подлинном достоинстве, освободить его от приражений «деспотизма» (этого русского перевода греческого «δεσποτα»), имеющего опору в психологии раболепства. Это раболепство относится прежде всего к отношению самих епископов к светской власти, к цезарепапизму, императорскому, в Византии, царскому, в Москве, далее советскому, расистскому, польскому, всяческому: «союз Церкви с государством», – царство от мира сего, в качестве царствия Божия. Но при этом подчинении кесарю, епископы требовали такого же подчинения себе внутри церкви, притом, конечно, не от словесного стада, которое и оставалось свободно и скорее представляло собой власть над епископами, а для клира, связанного каноническим послушанием. Психологически к этому злоупотреблению пастырской властью в сторону «дес-

451

потического» самовластия присоединяется еще и то, что, вопреки 2 прав. Софийского Собора, исключившего для монашествующих прохождение епископского служения, у нас епископство оказалось монашествующим, точнее псевдомонашествующим, поскольку обеты послушания сделались ступенью к достижению епископской власти и вообще утратили отношение к монашескому подвигу. Бытовые условия русской церковности оказались таковы, что принятие монашества ради епископской карьеры стало одной из самых болезненных особенностей нашего церковного строя; это – всем известно. И все более обнаруживается вся невыносимость этого духовного противоречия, особенно в наши времена смены властей, то завоевателей, то национальных, причем каждая смена находит своих временщиков и прислужников, и епископат чудовищно засаривается карьеристами. Все это в будущем ведет к какому-то неизбежному и очистительному кризису церковной жизни, и спасения ее не от епископства, но – во имя его – от иных епископов... Таково будто бы было пророчество преп. Серафима о наступлении такого времени для русской Церкви. Конечно, самое положение епископства психологически трудно, оно содержит в себе особый соблазн и искушение своеобразного человекобожия. Так было всегда и везде, как за пределами откровенной религии, в язычестве, так и в Ветхом Завете, ибо не случайно же самыми ожесточенными врагами и гонителями Христа были первосвященники Анна и Каиафа, – со всем идеологическим, исповедническим и религиозным (человекобожеским) комплексом этого неприятия. Но – увы! – тип ветхозаветных первосвященников оказался живуч, и он повторяется и в новозаветной истории. Здесь парадокс: первосвященство есть божественное установление в Ветхом Завете, но исторически и психологически оно дорого оплачивается немощным в грехах своих падшим человечеством. Нельзя дерзновенно восставать против самого божественного установления из-за грехов человеческих, как делает это протестантизм, но и нельзя пред ним идолопоклонство-вать и раболепствовать. В этом своеобразная трагедия

452

церковной жизни. В Римской церкви она выразилась в человекобожии папизма, на Востоке же в папистических уклонах епископата в области догматической, канонической и бытовой. В русской жизни одним из важнейших практических проявлений этого уклона является богослужебный культ епископства, придающий богослужению до известной степени оттенок архие-реослужения. Народ любит этот парад, он церковно на нем воспитывается и, конечно, деморализуется таким стилем благочестия. Основной нерв всей молитвенной жизни, Божественная литургия облекается и заслоняется пышностью архиерейского чина, декоративным, а потому и религиозно вредным удлинением службы. Конечно, по-настоящему это можно выстрадать только в алтаре, иконостас ограждает народ в известной мере от этого искушения, но вообще трудно спокойно думать и говорить об этом внедрении декоративного парада под предлогом благочестия во святая святых. И, конечно, это увлечение помпой больше всего свойственно наиболее рядовым духовно представителям епископата, превращающим себя в живые иконы. Однако – увы! есть общее искушение, и самое трудное здесь и там, что вся эта церковная трагедия возвышения епископата разыгрывается не в догматической осознанности, но на почве церковной психологии, есть... психологизм. По существу все остается благополучно и неповрежденно, а изнутри же охвачено духовной болезнью человекобожия. Здесь поэтому невозможна ни реформа, ни реформация, которая явилась бы победой духовной провокации, здесь достаточно пересмотра архиерейского чиновника и вообще применения его, хотя бы к греческому чину;

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
для этого нужно перевоспитание как правящей церкви, клира, так и церковного народа. Во всяком случае я должен исповедать, что для меня на путях моего священства, при всем моем личном почитании и любви к тем епископам, с которыми я сам имел дело, эта церковная «деспотия» была наиболее тяжелым крестом, и я чувствую себя виновным в пассивности, церковном попустительстве. И неизменно читая в церкви гневные речи Господа с обличением «Моисеева седалища», го-

453

лос мой бессильно дрожал от затаенного страдания. Такова горькая истина об этой стороне моего священства. Другая же горькая истина относится к моим судьбам, так сказать литургическим. Я шел в священство исключительно ради того, чтобы служить, то есть по преимуществу совершать литургию. Мой наивный и неопытный глаз при этом не различал никаких подробностей, относящихся к храмовому положению священника. Очень скоро я понял, что для того, чтобы с л у ж и т ь, надо иметь храм или, по крайней мере, престол. Но я вступал в клир хотя и не стариком, то, во всяком случае, и не молодым, чтобы начинать прохождение священнического пути. Кроме того, это произошло в пору жесточайшего гонения на церковь в России и далее в эмиграции, в обстановке беженства и всяческой церковной тесноты. В результате, кратко говоря, за четверть века своего священства я никогда не имел своего собственного храма, а всегда или «сослужил» архиереям или настоятелям, или имел лишь случайные службы, и, во всяком случае, не в великие праздники. Мои друзья ревновали в таких случаях об устройении мне службы в домашних помещениях (особенно в Страстную седмицу и Пасху), и это почти всегда доставалось ценою борьбы и самозащиты. О своем церковном устройении в храме я никогда не знал церковной заботы со стороны епископов. И это положение было для меня лично самым тяжелым крестом и скорбью на путях моего священства. Ее разделяли со мною и мои близкие... Об этом я не могу думать спокойно и ныне, когда болезнь сделала для меня уже почти невозможным самостоятельное служение в храме. И психологический источник этого равнодушия все тот же, что и выше мною указанный.

Но все эти горести – и епископская, и священническая, и многие другие, относящиеся к бытовой и фактической жизни православия, некультурности и непросвещенности церковной нашего народа, обря-доверия и суеверия, дьячковскому ритуализму, – вообще всему тому что делает наше православие неправославным, – все это выкупается каким-то Богоданным даром любви к Богу, из которого рождаются наши

454

великие подвижники и святые, «святая Русь». В огненном испытании, через которое проходит Россия, одинаково проявились и эта духовная безоружность православного народа в борьбе с дьявольщиной большевизма, направленной против святыни и религиозной веры, так и особое религиозное призвание и религиозный гений русского народа, любовь к Богу, которая, если не может сравниться с избранным народом в его единственности, то все-таки напрашивается на сопоставление именно с ним. И, конечно, эти дары могли проявиться во всей широте и силе только во времена испытаний, которыми милосердный Господь почтил народ Русский и его Церковь. И я славлю и благодарю Бога моего, что Он дал мне вступить в клир и послужить в нем именно в эти страшные, трагические времена неблагополучнейшего благополучия жизни церковной. Постольку все сказанное выше не колеблет и не ограничивает моей верности и преданности православию, но только делает его свободным от всякого «православизма», свойственного поместной Церкви, которая не ощущает всей своей ограниченности и провинциализма, но принимает себя за исчерпывающую вселенскую и поэтому, дыша одним из легких или только частью их, чувствует себя дышащею полною грудью. «Экуменизм» как факт выражает пробуждающуюся неудовлетворенность провинциализмом, римского ли или византийско-восточного образца. Можно в некотором церковном надмении мнить себя как всю полноту Церкви, но не может не оставаться глухого сознания и чувства жизни, свидетельствующих о том, что это – не то... Утеряно в веках то, что дано было и запевано, но и теперь утерянное, остается как некое обетование и тревога, неутоленное желание, раскрывшиеся, но не смыкающиеся объятия, которые не заменяются показыванием кулака в сторону инакомыслящих «православных». В сердце всегда надо носить живую боль от раны церковного разрыва и искреннюю молитву о «соединении всех», которое в обетовании дано и в жизни задано. И вселенское православие не совершилось до этого свершения. Это относится к кафоличности Православия или, по-

455

русски, к его вселенскости, не к догматическому учению и чистоте предания, но к чувству Церкви. Доселе это чувство еще не может найти для себя достойного и соответственного выражения. Но есть еще и другое, быть может, еще более важное и чувствительное для меня расхождение с «историческим» православием. Оно относится к будущему, к эсхатологии, к тому трепетному призыванию и ожиданию Христа грядущего, но которое как-то, если не догматически, то фактически утеряно православием (и не меньше, если не больше, и католичеством) под непосильным бременем своего историзма. Предание перестало быть живым и живущим, но стало «деспозитом» веры, который надо хранить, а не жизненно творить. Православие же есть не только обладание данным богатством веры и жизнью в ней, но и пророчество, апокалипсис, история – не только прошлого, но и настоящего и будущего, зов обетования. Оно не имеет града здесь пребывающего, но грядущего взыскует. Оно есть поэзия, эрос церковный, чаяния Жениха, чувство его Невесты. Оно есть творчество, направленное к концу и цели, чаяние Конца. Это не малодушный страх жизни и бегство от нее к смерти, но преодоление всякой данности, чаяние Нового Неба и Земли, новой встречи и жизни со Христом. Все это в словах невыразимо и неопределимо звучит как музыка души, симфония красок, поэзия искусства. Оно все есть – порыв, чаяние, обетование, «Ей, гряди»...

При всей моей «почвенности», которая меня укореняет в Церкви и со всем в ней соединяет в этом чувстве ее я остался одинок и чужд «историческому православию». Последнего для меня мало, вернее сказать, принятие его в такой ограниченности я испытываю как измену с утратой самого дорогого и жизненно важного. Этого почти нельзя рассказать о себе, сообщить другому, но это передается и слышимо как музыка души, это роднит и сближает затерянных в море житейском как братство, «церковь в церкви». Это же можно назвать и софийным чувством жизни, которое позволяет опознавать божественную основу под корою естества. И я не могу сказать, чтобы я оста-

456

вался здесь один, около меня и мною соединялись сродные души, однако церковно-исторически я одинок и ежусь от церковного холода. Однако такое чувство во мне соединяется с такой незыблемостью этого чаяния, с таким апокалипсисом жизни, что это делает меня спокойно радостным в моем уповании. И во свете его я воспринимаю настоящее и прозреваю будущее, в событиях настоящего я ищу их пророчественного содержания, угадывая их сокровенный смысл, в них нахожу свершения обетованного будущего. В свете апокалипсиса истории я постигаю и развертывающуюся пред нами историческую трагедию и особенно самые важные ее главы или темы. Из них для меня горят и светятся наиболее две: Россия-родина и судьбы Израиля... В обеих я вижу средоточие всего совершающегося в мире, к ним более всего влечет уразумение пророчества. Страшные и роковые судьбы обоих народов, каждая по-своему, знаменует их исключительное значение и в жизни всего человечества, и именно теперь больше, чем когда-либо, становятся они в центре мировой истории...

Я не надеюсь при жизни своей увидеть исполнение чаяний пророчеств. И пусть будет так, на то воля Бо-жия. Но это не колеблет незыблемости моей веры, стойкости упования, как не заглушает и победного вопля души: ей гряди, Господи Иисусе! Я жду чуда в истории как раскрытия в ней воли Божией, высшего ее смысла. Но это может совершиться лишь чрез явление полноты христианства, ветхо-новозаветного в духе и силе молитвы и пророчества...

457

ЗОВЫ И ВСТРЕЧИ [17]

Мне шел 24-й год, но уже почти десять лет в душе моей подорвана была вера, и после бурных кризисов и сомнений в ней воцарилась религиозная пустота. Душа стала забывать религиозную тревогу, погасла самая возможность сомнений, и от светлого детства оставались лишь поэтические грезы, нежная дымка воспоминаний, всегда готовая растаять. О, как страшен этот сон души, ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь! Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки, по мере того как все более потухал свет детства. И тогда

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
неожиданно пришло т о... Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к
ним навстречу...

Вечерело. Ехали южною степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние Кавказские горы. Впервые видел я их. И, вперя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской; помимо собственного со-

458

знания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа: а если есть... если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь... Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость... А если... если мои детские, святые чувства, когда я жил с ним, ходил перед лицом Его, любил и трепетал от своего бессилия к Нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то, мертвящее и пустое, слепота и ложь. Но разве это возможно, разве не знаю я еще с семинарии, что Бога нет, разве вообще об этом может быть разговор, могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не стыдись своего малодушия, не испытывая панического страха перед «научностью» и ее синедрионом? О, я был как в тисках в плену у «научности», этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для дураков. Как ненавижу я тебя, исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей. И сам я был тогда зараженный, и вокруг себя распространял ту же заразу... Закат догорел. Стемнело. И т о погасло в душе моей вместе с последним его лучом, так и не родившись, – от мертвости, от лени, от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось... И Бог отошел. Я скоро забыл о прихотливом настроении степного вечера. И после этого стал опять мелок, гадок и пошл, как редко бывал в жизни.

Но вскоре опять т о заговорило, но уже громко, победно, властно. И снова вы, о горы Кавказа! Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, алеющие под утренней зарей, в небо вонзались эти пики, и душа моя иставала от восторга. И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело, сплетаясь в торжественном, дивном хорале. Передо мной горел пер-

459

вый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце готово было разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти, есть одно вечное, неподвижное днесь. Ныне отпускаеши звучало в душе и в природе. И нежданное чувство ширилось и крепло в душе: победы над смертью. Хотелось в эту минуту умереть, душа просила смерти в сладостной истоме, чтобы радостно, восторженно изойти в то, что висилось, искрилось и сияло красотой первоздания. Но не было слов, не было имени, не было «Христос Воскресе!», воспетого миру и горным высям. Царило безмерное и властное О н о, и это «Оно» фактом бытия своего, откровением своим испепеляло в этот миг все преграды, все карточные домики моей «научности». И не умер в душе миг свидания, этот ее апокалипсис, брачный пир, первая встреча с Софией. Я не знал и не понимал тогда, что сулила мне эта встреча. Жизнь дала новый поворот, апокалипсис стал превращаться во впечатления туриста, и тонкой пленкой затягивалось пережитое. Но то, о чем говорили мне в торжественном сиянии горы, вскоре снова узнал я в робком и тихом девичьем взоре, у иных берегов, под иными горами. Тот же свет светился в доверчивых, испуганных и кротких, полудетских глазах, полных святыни страдания. Откровения любви говорили о ином мире, мною утраченном.

Пришла новая волна упоения миром. Вместе с «личным счастьем» первая встреча с «Западом» и первые пред ним восторги: «культурность», комфорт, социал-демократия... И вдруг неожиданная, чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь в Дрездене, Сама Ты коснулась моего сердца и затрепетало оно от Твоего зова.

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
Проездом спешим осенним туманным утром, по долгу туристов, посетить Zwinger с знаменитой его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и

460

прозорливой жертвенности, – знание страдания и готовность на вольное страдание, и та же вещь жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что они обречены, и вольно грядут Себя отдать, совершить волю Пославшего: Она «принять орудие в сердце», Он – Голгофу... Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо... Я (тогда марксист) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, «молиться» и плакать, и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез...

Я возвратился на родину из заграницы потерявшим почву и уже с надломленной верой в свои идеалы. Земля ползла подо мной неудержимо. Я упорно работал головой, ставя «проблему» за «проблемой», но внутренне мне становилось уже нечем верить, нечем жить, нечем любить. Мною владела мрачная герценовская резиньяция... Но чем больше изменяли мне все новые боги, тем явственнее подымались в душе как будто забытые чувства: словно небесные звуки только и ждали, когда даст трещину духовная темница, мною самим себе созданная, чтобы ворваться к задыхающемуся узнику с вестью об освобождении. Во всех моих теоретических исканиях и сомнениях теперь все явственнее звучал мне один мотив, одна затаенная надежда – вопрос: а если. И то, что загорелось в душе впервые со дней Кавказа, все становилось властнее и ярче, а главное – определеннее: мне нужна была не «философская идея Божества», а живая вера в Бога, во Христа и Церковь. Если правда, что есть Бог, значит, правда все то, что было мне дано в детстве, но что я оставил. Таков был полусознательный религиозный силлогизм, который делала душа: ничего или... все, все до последней свечечки, до последнего образка... И безостановочно шла работа души, незри-

461

мая миру и неясная мне самому. Памятно, как бывало на зимней московской улице, на людной площади, – вдруг загорался в душе чудесный пламень веры, сердце билось, глаза застилала слезы радости. В душе зрела «воля к вере», решимость совершить наконец безумный для мудрости мира прыжок на другой берег, «от марксизма» и всяческих следовавших за ним измов к... православию. О да, это, конечно, скачок, к счастью и радости, между обоими берегами лежит пропасть, надо прыгать. Если придется потом для себя и для других «теоретически» оправдывать и осмысливать этот прыжок, потребуется много лет упорного труда в разных областях мысли и знания, и всего этого будет мало, недостаточно. А для того, чтобы жизненно уверовать, опытно воспринять то, что входит в Православие, вернуться к его «практике», нужно было совершить еще долгий, долгий путь, преодолеть в себе многое, что налипло к душе за годы блужданий. Все это я отлично сознавал, не теряя трезвости ни на минуту. И тем не менее в сущности вопрос был уже решен: с того берега смотрел я на предстоящий мне путь, и радостно было сознавать это. Как это совершилось, и когда, – кто скажет. Кто скажет, как и когда зарождается в душе любовь и дарит ей свое прозрение. Но с некоторого времени я со всюю уверенностью узнал, что это уже совершилось. И от того времени протянулась золотая цепь в душе. Однако шли годы, а я все еще томился за оградой и не находил в себе сил сделать решительный шаг – приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды, в Чистый Четверг, зайдя в храм, увидел я (тогда «депутат») причащающихся под волнующие звуки: «Вечери Твоя тайная»... Я в слезах бросился вон из храма и плача шел по московской улице, изнемогая от своего бессилия и недостойности. И так продолжалось до тех пор, пока меня не восторгла крепкая рука...

Осень. Уединенная, затерянная в лесу пустынь. Солнечный день и родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но здесь решимость моя окон-

462

чательно меня оставила. Стоял вечерню бесчувственный и холодный, а после нее, когда начались молитвы «для готовящихся к исповеди», я почти выбежал из церкви, «изшед вон, плакася горько». В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице и опомнился... в келье у старца. Меня туда привело: я пошел совсем в другом направлении, вследствие своей всегдашней рассеянности, теперь еще усиленной благодаря подавленности, но в действительности – я знал это тогда достоверно – со мной случилось чудо... Отец, увидев приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие, как капля перед океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды. В дверях встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел меня в растерянности оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем совершившегося со мной. «Господь прошел», – умиленно говорил он потом... И вот вечер, и опять солнечный закат, но уже не южный, а северный. В прозрачном воздухе резко вырисовываются церковные главы, и длинными рядами белеют осенние монастырские цветы. В синюющую даль уходят гряды леса. Вдруг среди этой тишины, откуда-то сверху, словно с неба, прокатился удар церковного колокола, затем все смолкло, и лишь несколько спустя он зазвучал ровно и непрерывно. Звонили ко всеобщей. Слово впервые, как новорожденный, слушал я благовест, трепетно чувствуя, что и меня зовет он в церковь верующих. И в этот вечер благодатного дня, а еще более на следующий, за литургией, на все глядел я новыми глазами, ибо знал, что и я призван, и я во всем этом реально соучаствую: и для меня и за меня висел на древе Господь и проливал пречистую Кровь Свою, и для меня здесь руками иерея уготовляется святейшая трапеза, и меня касается это Евангелие, в котором рассказывается о вечери в доме Симона прокаженного и о прощении много возлюбившей жены-блудницы, и мне дано было вкусить святейшего Тела и Крови Господа моего...

463

ИЗ ИНТИМНОГО ПИСЬМА[18]

«...я не хочу прощать небу его страданий, его распятия. Как я могу простить то, чего я не умею понять. И я не должен прощать, ибо Бог осудил ведь своих «адвокатов» около Иова, которые все объяснили и обо всем рассудили. Мне казалось, – кажется и теперь, через много лет спустя, – что Бог и не хотел от меня легкого примирения, ибо я должен был принять орудие в сердце. Нелегка ты, жертва Авраама, не из благополучной, но из растерзанной души исторгался перед лицом невинной жертвы вопль мой: прав Ты, Господи, и правы суды Твои. А я это говорил всем сердцем своим. О, я не бунтовал и не роптал, ибо жалок и малодушен был бы бунт, но я не хотел мириться, ибо постыдно было бы и примирение. Отец молча ответил мне: у изголовья его тела стало Распятие Единородного Сына. И я услышал этот ответ и склонился перед ним, но невинные страдания и чей-то сарказм гус-

464

тым, непроницаемым облаком легли между распятием и его телом, и – я твердо знаю это – здесь, в этом облике, тайна и моей собственной жизни. Знал я и тогда, что очень легко, соблазнительно легко постараться з а б ы т ь об этом облаке, обойти его как-нибудь, – ведь, неприятно же носить в душе нечто совсем непонятное, да и пристойнее жить в мире с важными особами... Иначе же – только подвигом, крестом целой жизни могу я рассеять это облако, – оно может рассеяться, это я тоже знал достоверно, оно есть тень моего собственного греха, но ведь я сам распял его своими грехами. И об этом говорил он мне в ту голгофскую ночь: «неси меня, папа, кверху, – пойдем с тобой кверху». О, пойдем, пойдем, дитя мое, мой вождь, учитель, ангел-хранитель мой!

Но здесь начинается невыразимое словом...

Святой мой, у святыни моще твоих, у чистого твоего тела, белый мой, светлый мальчик, узнал я, как говорит Бог, понял, что значит: Бог сказал! В новом, никогда доселе неведомом ясновидении сердца – вместе с крестной мукой сходила в него небесная радость, и с тьмою богооставленности в душе воцарялся Бог. Сердце мое отверзлось на боль и муку людей, – перед ним

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
раскрывались доселе чуждые и потому закрытые сердца с болью и горем. Единственный раз в жизни понимал я, что значит любить не человеческой, себялюбивой и корыстной любовью, но божескою, как Христос нас любит. Как будто завеса, отделявшая меня от других, спала, и мне открылся в сердцах их весь мрак, горечь, обида, озлобление, страдание. И в несказанном восторге, исступлении, самозабвении говорил я тогда, – ты помнишь это, мой белый, говорил я: мне Бог сказал, и также просто, и тебя слыша, прибавлял, что и ты мне сказал. И Бог говорил мне тогда, и ты говорил. О, теперь я живу опять во мраке и холоде, и лишь по памяти могу говорить об этом, но я уразумел, что это значит: Бог сказал. Тогда раз навсегда я узнал, что Бог действительно говорит, а человек слышит и – не испепеляется. Я знаю теперь, как Бог говорит пророкам. О, ангел мой светлый! Это может показаться бе-

465

зумием и самоослеплением, хулой и кощунством, но ведь ты же знаешь, что это не так, тебе я не могу сказать неправды. Я знал тогда с последней достоверностью, что Бог говорил мне, и так говорил Он и пророкам. О, иное и иначе говорил пророкам, и они были иные, – неизмеримую бездну между мною и ими я знал и ощущал я тогда, не меньше знаю и теперь. Но Бог – один, и Его безмерное к нам снисхождение одинаково, и пусть между моей темной, греховной душой и святою душою пророка лежит великая бездна, но ведь еще неизмеримее та бездна, которая лежит между Богом и всякою тварью, – и, как тварь, ведь и я, и пророки – одно, и Он говорит твари... Забыть это и усомниться после этого значит для меня умереть духовно. Можно потерять свое сокровище, испугаться перед его защитой, но и недостойно брошенное и утраченное, оно есть все-таки сокровище...

«Вем человека о Христе, который вознесен был на третье небо»... читали ли эти слова? Задумывались ли, что они означают? Если это не бред или самообман, если правда то, что здесь написано, и было, как написано, то что же это значит для видевшего, каким взором должен был он смотреть на мир после виденного, когда небо открылось!..

О, мой светлый, мой белый мальчик! Когда несли мы тебя на крутую гору, и затем по знойной и пыльной дороге, вдруг свернули в тенистый парк, словно вошли в райский сад; за неожиданным поворотом сразу глянула на нас своими цветными стеклами ждавшая тебя, как ты прекрасная, церковь. Я не знал ее раньше и, как чудесное видение предстала она, утонувшая в саду под сенью старого замка. Мать твоя упала с криком: «небо раскрылось». Она думала, что умирает и видит небо... И небо было раскрыто, в нем совершался наш апокалипсис. Я чувствовал, видел почти восхождение твое. Обступили тебя олеандры, розовые и белые, как райские цветы, только того и ждавшие, чтобы склониться над тобою, стать на страже у твоего гроба... Так вот что, все становилось понятно, вся мука и зной растворились, исчезли в небесной голубизне этой церкви. Мы думали, что только там, внизу, в

466

зное происходят события, и не знали, что есть эта высь, а оказывается – здесь ждали... И глубоко внизу, вдали остались зной, муки, стенания, смерть, – на самом же деле не это было, потому что есть то, и теперь раскрыто...

Шла литургия. Не знаю, где она совершалась, на земле или на небе... «Ангельскими невидимо дорино-сима чинми», привычные, уже примелькавшиеся святые слова... но кто это в алтаре направо... разве не со-служитель небесный? А эти страшные демонские лики, с такой неведомой мне, превосходящей мое воображение злобою на меня смотрящие и... тоже из алтаря... Но не боюсь я вас, ибо к небу он восходит, мой белый мальчик, и вы бессильны перед его защитой, пред его светом...

Слушаю «апостол» о воскресении и всеобщем внезапном изменении... и впервые понимаю, что это так и будет и к а к это будет.

Нужно ли верить, что литургия совершается в со-служении ангелов, когда я это... видел. Не так же ли видел ангела священник Захария около кадильного алтаря, или сослужащий с преподобным Сергием видел ангела, литургисающего с ним (как повествует его житие). Но и здесь не дерзновенно ли, возможно ли делать такие сопоставления. Должно. Ибо не себя ведь, не темноту свою греховную сравниваем мы, но виденное по Божественному усмотрению...

Так вот к чему звал меня этот звон с высоты, который так настойчиво слышался мне то лето. Ты пришел к нам в Рождественскую ночь, под звон колоколов, славивших родившегося Христа. Духовное твое рождение совершилось в день празднования собора Крестителя, «величайшего между рожденными женою», Господня Предтечи, к его лику принадлежишь ты, вестник небес. И, мнится и верится, станешь ты у смертного изголовья с печалью молчаливого укора, иль с радостью вечного свидания светозарным ангелом смерти»...

467

пять ЛЕТ (1917–1922) [19]

Царьград. 17/30. III. 1923

Жизнь дается один раз человеку, и в этом смысле дорога и интересна всякая жизнь. Индивидуальность есть как бы окно, чрез которое зрится поток жизни, и личная судьба есть рамка, в которой она оформляется, дробится, конкретизируется. То важное, дивное и страшное, чему суждено было стать свидетелями и участниками людям нашего поколения, каждым испытано и пережито по-своему. И в этом – оправдание и вместе побуждение рассказать о пережитом каждым по-своему. Это же понуждение испытываю я теперь, когда волею судеб прервалась временно линия моей жизни, и я оказался выброшен из пределов России. Отрезок времени от начала революции лежит предо мною, если не законченным внутренне, то оборванным, как обрывается всякая жизнь. И невольно хочется посмотреть на него извне и изнутри как на целое, еще раз пережить и понять. Однако я чувствую себя не в силах писать воспоминания. В свое время я делал заметки в потаенной книге сердца, род интимного дневника. Но его нет со мной, как нет вообще никаких материалов, а надорванная и ослабевшая память не помогает. К тому же никогда у меня не было ни интереса, ни вкуса к конкретному, к действительности, такова моя слабость и мое свойство. События всегда воспринимались мною в виде звуковых или красочных нитей определенного колорита и насыщенности, но я не имел ни умения, ни вкуса разлагать их на конкрет-

468

ности. При этом сам я, как ввиду личной слабости, так и ввиду особого своего отношения к современности, к которой почему-то всегда оказываюсь не современным, чужим в трагическом разладе, не принимал активного участия в событиях, был ими влеком, но не делал их, созерцал и чувствовал, но не был деятелем, по крайней мере, в смысле внешнего исторического делания. Пусть так. Но ведь и то, что совершалось в душах людей, имеет право на такое же внимание, как внешние события. И события в душах, в известном смысле, важнее и существеннее внешних событий. Попытаюсь и я закрепить те, бледнеющие уже нити своих воспоминаний о том, как революция, происходившая извне, протекала в моей душе и отражалась в моих судьбах. Но я чувствую потребность сделать здесь нечто вроде пролога, – о себе, о том, что я был и чем стал к тому времени, когда грянула мировая война, а за ней и революция.

469

АГОНИЯ

Революцию я пережил трагически, как гибель того, что было для меня самым дорогим, сладким, радостным в русской жизни, как гибель любви. Да, для меня революция именно и была катастрофой любви, унесшей из мира ее предмет и опустошившей душу, ограбившей ее. Пусть смеются над этой трагической эротикой, которая все время составляла *error in objecto*, пока не погиб сам объект. Однако это было так. В предреволюционной России был такой безумец, который носил в сердце стыдливую и до конца никогда не высказанную трагичку любви, которая все время и попиралась ее объектом. Я любил Царя, хотел Россию только с Царем, и без Царя Россия была для меня и не Россия. Первое движение души – даже полусознательное, настолько оно было глубоко, – когда революция совершилась, и когда по-прежнему раздавались призывы: война до победного конца, было таково: но зачем же, к чему теперь и победа без Царя. Зачем же нам Царьград, когда нет Царя. Ведь для Царя приличествовал Царьград, он был тот первосвященник, который мог войти в этот алтарь, он и только он один. И мысль о том, что в Царьград может войти Временное правительство с Керенским, Милюковым, была для меня так отвратительна, так смертельна, что я чувствовал в сердце холодную, мертвящую пустоту. Я не был «монархистом» в политически-партийном смысле, как есть и были они в России,

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
и вообще я никого почти не знал, с кем мог бы разделить эти чувства мистической любви. Но у меня было на душе так, как бывает, когда умирает самое близкое, дорогое существо, после безнадежной продолжительной болезни. Однако подобно тому, как здесь же бывает, испытывалось и облегчение, потому что агония любви моей была невыноси-

470

ма, она парализовала во мне всякую активность. В сущности агония царского самодержавия продолжалась все царствование Николая II, которое все было сплошным и непрерывным самоубийством самодержавия. Теперь после всего, что мы уже знаем о царе и о его царствовании, это выступает с новой очевидностью. Раньше могло казаться, что революцию сделали революционеры, – и это верно в том смысле, что такую, то есть интеллигентскую революцию, сделали действительно революционеры во имя своей интеллигентщины, но это лишь как. К несчастью, революция была совершена помимо всяких революционеров самим царем, который влекся неудержимой злой силой к самоубийству своего самодержавия, влекся чрез Ялу, Порт-Артур и Цусиму, чрез все бесчисленные зигзаги своей политики и последний марш войны.

Я ничего не мог и не хотел любить, как Царское самодержавие, Царя, как мистическую, священную Государственную власть, и я обречен был видеть, как эта теократия не удалась в русской истории и из нее уходит сама, обмирщившись, подменившись и оставляя свое место... интеллигентщине. И теперь только я вижу и понимаю, что эта неудача была глубже и радикальнее, чем я ее тогда умел видеть. Самоубийство самодержавия, в котором политические искажения в своевольном деспотизме соединились с мистическими абберациями в Распутине и даже семейным психозом в царице, не имели виновника в Николае II, ни в его семье, которые по своим личным качествам были совершенно не тем, чем их сделал их престол. Это самоубийство было предопределено до его рождения и вступления на престол, – здесь античная трагедия без личной вины, но с трагической судьбой: Эдип должен убить отца и жениться на матери, хочет он этого или не хочет. Николай II с теми силами ума и воли, которые ему были отпущены, не мог быть лучшим монархом, чем он был: в нем не было злой воли, но была государственная бездарность и в особенности страшная в монархе черта – прирожденное безволие. Но разве он сам восхотел престола и от его ли воли зависело то, что он на нем унаследовал? Но такой, как он был, он мог только губить и Россию, и самодержавие. И добав-

471

лю еще: разве не правого он восхотел, когда он, теократический царь, как это он верно и глубоко понял в царском сердце своем (вопреки всем окружающим, хотевшим видеть в нем только политического монарха, самодержавного императора) взыскал вдохновения свыше, духа пророческого, и обрел его... в Распутине... И однако неудача самодержавия в лице Николая II была настолько велика, непоправима, что она обрекала того, кто мог и хотел любить только самодержавие, понятие как государственная вселенская идея, на ежечасное умирание. И притом в повседневной жизни эта неудача измельчалась, она разменивалась и дробилась, принимала вид пошлый, жалкий и ничтожный. Царя можно было любить только в уединении, но всякая встреча в действительности оскорбляла и ранила, приносила миллион терзаний. Вместе с тем, глубоким мистическим чувством, которое дает только зрячая любовь, я видел и знал, что неудача самодержавия есть неудача России, и гибель царства есть гибель и России. Я это знал и думал до революции, я это теперь со всей ответственностью исповедую и утверждаю, и потому я не хотел революции, когда все ее хотели, и плакал, когда все радовались, я хоронил, когда все стремились к новому браку...

Сделаю здесь небольшое отступление, чтобы сказать, как и когда появилось у меня это «шестое чувство». Вся свою молодость и сознательную жизнь до первой революции я был непримиримым врагом самодержавия, я его ненавидел, презирал, гнушался им, как самым бессмысленным, жестоким пережитком истории. Самодержавие – это полиция, жандармы, тюрьма, ссылка, придворные, ни для кого ненужные и неинтересные приемы и парады и убийственная жестокость к русскому народу. Вся гамму интеллигентской непримиримости к самодержавию я изведаль и пережил. В студенчестве я мечтал о цареубийстве (хотя, разумеется, меня начинало трясти уже при мысли об исполнении акта), когда я вступил на путь религии, самодержавие казалось мне главным религиозным врагом, с которым связана основная ложь нашей церковности. И в своих мыслях и чувствах я не находил

472

никакого подхода к тому, чтобы можно было мистически познать и признать самодержавие. В подготовке революции 1905 г. участвовал и я как деятель Союза Освобождения и я хотел так, как хотела и хочет вся интеллигенция, с которой я чувствовал себя в разрыве в вопросах веры, но не политики. В Киеве, где я профессорствовал эти годы (1901–6), я занимал вполне определенную политическую позицию. И так шло до 17 октября 1905 года. Этот день я встретил с энтузиазмом, почти обморочным, я сказал студентам совершенно безумную по экзальтации речь (из которой помню только первые слова: «века сходятся с веками») и из аудитории Киевского политехникума мы отправились на площадь («освободить заключенных борцов»). Все украсились красными лоскутками в петлицах, и я тогда надел на себя красную розетку, причем, делая это, я чувствовал, что совершаю какой-то мистический акт, принимаю род посвящения. На площади я почувствовал совершенно явственно веяние антихристового духа: речи ораторов, революционная наглость, которая бросилась прежде всего срывать гербы и флаги, словом, что-то чужое, холодное и смертоно-стное так оледенило мне сердце, что, придя домой, я бросил свою красную розетку в ватерклозет. Ав Евангелии, которое открыл для священноногадания, прочел: сей род (какой род, я тогда еще не умел распознать) изгоняется молитвой и постом. Но тогда для меня ясно было присутствие сего рода, от которого вечером того же дня начались в Киеве погромы, только в том черном стане, но не в этом с красной петлицей. Однако развернувшаяся картина революции очень скоро показала, что представляет собою революция как духовная сущность. И я уже с этого времени отделился от революции и отгородился от нее утопической и наивной мыслью о создании христианского освободительного движения, для чего нужно создать «союз христианской политики» (ранний прототип «живой церкви»). Я постиг мертвящую сущность революции, по крайней мере русской, как воинствующего безбожия и нигилизма. До сих пор я кое-как старался зажимать себе нос, чтобы не слышать этого трупного запаха. С революцией было

473

нам не по пути, потому что, пока Россией правила черная сотня, казалось оправданным бытие красной сотни. Постепенно, по мере того как выявлялась духовная сущность русской революции в истории 1905–7 гг., для меня становилась невозможна всякая связь с ней. Становилось очевидно, что революция губит и погубит Россию. Но не менее ясно было для меня тогда, что ее не менее верно губит и самоубийца на престоле, первый деятель революции Николай П. И из этого рокового кольца революции, в котором боговенчан-ный монарх в непостижимом ослеплении и человеческом слабости подавал руку революции, казалось, не было выхода. Слишком страшно было думать всерьез и говорить о гибели России (хотя я и говорил еще в Вехах), тем более что все еще оставалась надежда найти внереволюционный, свободный от красной и черной сотни культурный центр, опираясь на который можно было бы освободить царя от революции (тогда мы еще не знали, что революция имеет неотразимую силу на него через ближайшего ему человека, – любящую, преданную жену, ибо царица Александра оказалась в полном смысле слова роковой революционеркой, что она дала революции проникнуть во святая святых царя и утвердиться во дворце). Культурный консерватизм, почвенность, верность преданию, соединяющаяся со способностью к развитию – таково было это задание, которое и на самом деле оказалось бы спасительным в истории, если бы было выполнено. Впрочем, про себя лично скажу, что хотя в бытовых и практических отношениях я шел об руку с этим культурным консерватизмом (как он ни был слаб в России), исповедывал почвенность, однако в глубине души никогда не мог бы слиться с этим слоем, который у нас получил в идеологии наиболее яркое выражение в славянофильстве (с осколками славянофильства: Д. Ф. Самарин, И. В. Мансуров, М. А. Новоселов, В. А. Кожевников и др. я дружил и лично). Меня разделяло общее ощущение мира и истории, какой-то внутренний апокалипсис, однажды и навсегда воспринятый душой как самое интимное обетование и мечта. Русские почвенники были культурные консерваторы, хранители и чтители священного предания,

474

они были живым отрицанием нигилизма, но они не были его преодолением, не были потому, что сами они были в сущности духовно сыты, и никуда не порывались души их, никуда не стремились. Они жили прошлым, если только не в прошлом. Их истина была в том, что прошлое есть настоящее, но настоящее-то

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
не есть только прошлое, но оно есть и будущее, и притом не только будущее, которое есть выявление прошлого чрез настоящее в будущем, то есть только прошлое, а будущее как новое рождение. «Се Аз творю все новое». К этому новому рвалась и рвется, его з н а-е т душа. И это религиозно-революционное, апокалипсическое ощущение «прерывности» (о чем любил философствовать рано ушедший друг наш В. Ф. Эрн), роднит меня неразрывно с революцией, даже – *horribile dictu* с русским большевизмом. Отрицая всеми силами души революционность как мировоззрение и программу, я остаюсь и, вероятно, навсегда останусь «революционером» в смысле мироощущения (да разве такими «революционерами» не были первохристиане, ожидавшие скорого мирового пожара). Но эта «революционность» в русской душе так неразделимо соединилась с гадаринской бесноватостью, что с национально-государственной и культурной точки зрения она может быть только самоубийственной. К чему я об этом говорю здесь, в воспоминаниях? Да потому что понимание этого со всею ясностью у меня явилось уже в 1906 году и определило собою и мой образ действий, и мировоззрение. Дореволюционные безумства и наглость 1905 г., совет рабочих депутатов, экспроприации, убийства и, как ответ на это, военно-полевые суды, с жестокостями, с которыми было так же невозможно мириться, как с низостями революции. И, казалось, нет выхода. Промелькнула первая Г. Дума: она блеснула своими талантами, но обнаружила полное отсутствие государственного разума и особенно воли и достоинства перед революцией, и меньше всего этого достоинства было в руководящей и ответственной кадетской партии, получившей бесславный конец в Выборге, ибо Выборг был несомненно самоубийством партии, от которого она уже не оправилась. Вечное равнение налево, трусливое оглядывание по сторонам

475

было органически присуще партии и вождям при всех достоинствах и заслугах их в отдельности, и это не удивительно, потому что духовно кадетизм был поражен тем же духом нигилизма и беспочвенности, что революция. В этом, духовном, смысле кадеты были и остаются в моих глазах революционерами в той же степени, как и большевики, и исключения здесь лишь подтверждают общее правило: насколько те или иные отдельные лица (как П. Б. Струве или П. И. Новгородцев, – не говорю о кадетах случайных для блока, как А. В. Карташев) они перерастают свой кадетизм. Все дело в религиозном самоопределении, а эту-то сторону, по наивности, и в революционном ослеплении кадеты оставили в тени, предоставляя его «терпимости», то есть нигилизму. Наконец, среди правых руководящую роль задавали погромные элементы либо такого рода консерватизм (например, митрополиты Антоний, Грингмут, Пр. Восторгов), для которого нет никакого просвета ни в настоящем, ни в будущем: это поклонники московщины и деспотизма реакции под маской консерватизма. Погромщики же (Дубровин и Ко) подняли голову и образовали свои боевые дружины. И однако они исповедывали православие и народность, которые и я тогда исповедывал, и я чувствовал себя в трагическом почти одиночестве в своем же собственном лагере.

В это время образовалась крошечная группа людей, составивших вскоре религиозно-философское общество имени Вл. Соловьева в Москве (следящим за русской религиозной мыслью известны эти имена). В то время, около 1905 г., нам всем казалось, что мы-то именно и призваны начать в России новое религиозно-революционное движение (позднее, когда это было уже брошено нами, это было подхвачено и опошлено декламацией Мережковского, который сделал своей теноровой специальностью ноту *р е -волю-ция – магия*). Это были своего рода «бессмысленные мечтания», которые и обличила жизнь. В Москве дело не пошло дальше расклеивания революционных прокламаций с крестами, а я лично пытался кликнуть клич на основание «Союза христианской политики» (название, как и идея, заимствованы у Вл. Соловьева),

476

но для этого у меня самым очевидным образом не хватало ни воли, ни умения, ни даже желанья, это предпринято было, в сущности, для отписки, ради самообмана *ut aliquid fieri videatur*. Сам я очень скоро разочаровался и отказался от этой затеи. Позднее, в 1917 году, меня хотели вернуть к ней, аки «пса на блевотину», но у меня не было на это ни малейшего желанья.

Под такими воздействиями определялось мое настроение в начале революции. Своей партии я не создал, а примкнуть к кадетам я не хотел и не мог, не теряя своего лица. А в это время надвинулись выборы в первую Думу. Я не

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org имел достаточно характера, чтобы остаться «тверд, спокоен и угрюм» перед общей сутолокой и предвыборной суетой. Для меня было необходимо пережить Государственную Думу, да и, разумеется, я имел достаточные данные, а потому и обязанность вложить и свои силы в общую работу. Однако препятствием оказалась партийность. По вышеуказанным причинам, став боком к революции уже тогда, я не мог примкнуть ни к одной из политических партий, всецело стоявших на почве революционного или контрреволюционного мировоззрения (не говорю об «ок-тябризме», который всегда имел классово-оппортунистическую природу). Между тем, попасть в Государственную Думу в Киеве, где я жил и где могла быть выставлена моя кандидатура с большими шансами на успех, не было возможности. Моя очередь пришла во вторую Государственную Думу, куда и выбран по родной Орловской губернии как беспартийный («христианский социалист»). Я получил, наконец, депутатское крещение, и четырехмесячное сидение в «революционной» Государственной Думе совершенно и окончательно отвратило меня от революции. Из Государственной Думы я вышел таким черным, как никогда не бывал. И это было понятно. Нужно было пережить всю безнадежность, нелепость, невежественность, никчемность этого собрания, в своем убожестве даже не замечавшего этой своей абсолютной непригодности ни для какого дела, утопавшего в бесконечной болтовне, тешившего самые мелкие тщеславные чувства. Я не знал в мире места с более нездоровой

477

атмосферой, нежели общий зал и кулуары Государственной Думы, где потом достойно воцарились бесовские игрища советских депутатов. Разумеется, сам я совершенно не годен в депутаты, и потому, может быть, с таким ужасом и вспоминаю эту атмосферу. Однако я сохранил достаточную объективность и бесстрашие, чтобы видеть там происходившее. И нет достаточно сильных слов негодования, разочарования, печали, даже презрения, которые бы мне нужны были, чтобы выразить свои чувства. И это – спасение России. Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, внушите им, что они спасители России, к каждому слову их, немедленно становящемуся предметом общего достояния, прислушивается вся Россия, и вы получите 2-ю Государственную Думу. И какими знающими, государственными, дельными представлялись на этом фоне деловые работники ведомств – «бюрократы». Одним словом, 2-я Государственная Дума для меня явилась таким обличением лжи революции, что я и политически от нее выздоровел. Однако я еще не стал монархистом. Мое отношение к Царю и во второй Государственной Думе оставалось прежним. В мою «почвенность» идея монархии и монархической государственности отнюдь не входила. Вопрос о монархии есть, в существе дела, вопрос любви или нелюбви (есть любовь и в политике), и я не любил Царя. Мне был гнусен, разумеется, рев и рычание революционной Думы, но я ощущал как лакейство, когда некоторые члены Государственной Думы удостоились царского приема, где-то с заднего крыльца. Но, выйдя из Государственной Думы, после банкротства революции и разочарования в ней, куда мог я пойти. В Государственной Думе на меня произвел сильное впечатление своей личностью, смелостью, своеобразной силой слова (особенно на фоне жалкой брехни) Столыпин. Я совершенно не сочувствовал его политике, но я сохранил веру, что он любит Россию и, в конце концов, не солжет. И с этой – последней – надеждой я вышел из Таврического Дворца. Это была слабая соломинка, но и она уже гнулась во все

478

стороны. И здесь была течь. И в этом я убедился с трагической ясностью, когда встретился со столыпинской работой по подготовке выборов в Государственную Думу. Я снова участвовал в Орловских выборах, но в Думу уже не пошел, хотя меня и посылали настойчиво. За время третьей Думы революция затихла, зато подняла голову – все решительнее и решительнее – контрреволюция. Начались ликвидационные процессы, дело Бейлиса и под. Россия экономически росла стихийно и стремительно, духовно разлагаясь. И за это время каким-то внутренним актом, постижением, силу которого дало мне православие, изменилось мое отношение к царской власти, воля к ней. Я стал, по подлему выражению улицы, царист. Я постиг, что царская власть в зерне своем есть высшая природа власти, не во имя свое, но во имя Божие. Не хочу здесь богословствовать о царской власти, скажу только, что это чувство, эта любовь родилась в душе моей внезапно, молниеносно, при встрече Государя в Ялте, кажется, в 1909 году, когда я его увидел (единственный раз в жизни) на набережной. Я почувствовал, что и Царь несет свою власть, как крест Христов, и что повиновение Ему тоже может быть крестом Христовым и во имя

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
Его. В душе моей, как яркая звезда, загорелась идея священной царской власти, и при свете этой идеи по-новому загорелись и засверкали, как самоцветы, черты русской истории; там, где я раньше видел пустоту, ложь, азиатчину, загорелась божественная идея власти Божией милостью, а не народным произволением. Религиозная идея демократии была обличена и низвергнута во имя теократии в образе царской власти. Безбожная демократия, на которой утверждается духовно революция, несовместима с теократической природой власти, здесь водораздел: или-или: с Царем или без Царя, против Царя. А вся русская революция – я это знал и по личному опыту – всегда была против Царя и с демократией. В моем энтузиазме к царской власти совсем не было (и никогда не бывало) элементов полицейского черносотенства, и я не становился от этого ближе к «правым», оставаясь одиноким и безвольным мечтателем, каким был я всегда, но передо мной становился

479

со всей трагической остротой вопрос о монархе, о носителе царской власти в годину ее рокового крушения, о Николае II, совершавшем самоубийство самодержавия. Ставши царелюбцем в такое время, когда царская власть уходила из мира, я обрекался на муки медленного умирания вместе с ней. Отныне, если я – монархист, я становился как-то ответственным за все те безумия и преступления, которые творились царской властью и даже именно этим монархом-самоубийцей. А в то же время в своей любви к царю я сразу же отделил от его личности вины, за которые он не был ответствен, и зло, ему не принадлежавшее, и полюбил его в это мгновение какой-то любовью до гроба, какую обещаются перед алтарем жених и невеста. Это – бред, которого не поймет и не простит мне интеллигенция, но это было стихийное чувство русского народа, на котором строилась русская государственность. И когда совершилось это избрание сердца, когда я полюбил Царя, а вследствие этого не мог не полюбить и царствующего Императора, не полюбить в нем того, что достойно любви и прежде всего крестоносца, мое политическое бытие, как русского гражданина, стало агонией, ибо в агонии находилась историческая царская власть, и я агонизировал вместе с нею. Отмечу два-три момента в этой истории, запечатлевшиеся в моем сознании с особенной четкостью: выборы в 3-ю Государственную Думу и распутинская эпопея. После роспуска 2-й Государственной Думы и нового избирательного закона правительством Столыпина проявилось известную избирательную технику, которая, однако, соединилась, увы, с прямолинейностью цинизма и бесстыдства. А к этому еще не приучена русская жизнь, как приучена уже теперь (как и во всем мире, где выборы делаются). В качестве избирательной скотинки – *Stimmvieh* – были избраны послушные попы, которых в огромном, ничего не соображающем количестве нагнали на выборы в качестве выборщиков и здесь заставили играть самую жалкую и вредную роль, причем дирижировал ими А. Н. Хвостов, будущий министр, а в то время Нижегородский губернатор, расстрелянный большевиками. Это был отвратительно толстый и столь же развязный человек, – он

480

внушал мне непримиримое отвращение. Рядом с раболепством духовенства была продемонстрирована гнилость дворянства, которое также проявляло «классовую» разнузданность, без мысли об общерусских, государственных интересах (разумеется, за единичными исключениями, очень высокими и светлыми) и полная темнота крестьянства, которое думало только о диетах. Все это вскрыло передо мною воочию такое убожество России и, главное, такую нечестность власти в ее политической деятельности, что я вернулся с выборов в полном отчаянии и даже заболел от огорчения. В это время раздавались уже первые раскаты мировых громов, – начало балканской войны, повлекшей за собою через пять лет и войну мировую. Помню, я беседовал с П. И. Н. относительно нашей современности и отечественной войны: великие национальные задачи, но где же у нас люди? Что же, с Хвостовым отечественную войну вести? И в душе была смерть... Однако, к счастью или несчастью, мрачные впечатления у меня скоро изглаживаются, и к началу мировой войны я опять уже был готов славянофильствовать вовсю.

С этой «бюрократией» Россия вела тяжбу о царской власти, и эта тяжба в моей душе происходила. Наблюдая непрестанно, что царь действует и выступает не как царь, но как полицейский самодержец, фиговый лист для бюрократии, я – в бессильной мечтательности помышлял об увещаниях, о том, чтобы умолять царя быть царем, представить ему записку о царской власти, но все это оставалось в преступно бессильной мечтательности. Царь ли деморализовал министров, или же деморализовался ими, только пусто было около царского трона. И когда

Царь бывал в Крыму, где жизнь его была близко известна, то у местных людей к нему имели приближение и доступ только карьеристы, временщики и проходимцы. Еще помню, уже во время войны, когда обаяние царя заметно пошло на убыль, был он в Москве, с обычными официальными приемами, а у нас была как раз лекция о войне (и даже именно моя), и было так больно, что непроницаемая стена отделяет царя от тех, кто изнемогает в бесплодной идее об апофеозе царской власти.

Однако самое мучительное было связано с Распутиным и его влиянием. О действительном характере

481

этого влияния много врали и спорили. Чаще всего приплетали всякую грязь, которой я не верил, но совсем почти не знали действительной причины его силы, – именно болезни наследника и рокового и таинственного влияния на ход этой болезни (и даже мне, который, как отец, должен был бы это понимать, не приходило в голову никогда, каким непрерывным и скрытым мучением, обессиливающим и терзающим была для Царской четы неизлечимая болезнь единственного сына).

Я никогда не видел Распутина. Услышал о нем впервые в 1907 г., в бытность членом 2-й Государственной Думы, от М. А. Новоселова, который тут же выразил и сомнение в мистической доброкачественности этого совершенно особого человека. Тогда же я познакомился и с архимандритом Феофаном, который позднее сыграл столь роковую роль в знакомстве Распутина с Царской семьей. О Распутине заговорили несколько лет спустя, и тогда же М. А. Н., со свойственной ему ревностью о вере, начал собирать материалы о нем и готовить печатное его обличение, однако, задержанное полицией. Затем Распутин был ранен и удалился в Сибирь, но с начала войны влияние его опять стало колоссально. Теперь степень этого влияния выясняется из писем царицы, но и тогда, во время войны, оно было общеизвестно и приукрашивалось, разумеется, слухами об измене. Газеты были полны намеками, сообщениями, выпадами относительно «темной силы», тем более что она давала себя знать ощутительно и в церковной жизни (удаление Самарина, опала митрополита Владимира, возвышение епископа Варнавы, Питирима). Это был – позор, позор России и царской семьи, и именно как позор переживался всеми, любящими царя и ему преданными. И вместе с тем это роковое влияние никак нельзя было ни защищать, ни оправдывать, ибо все чувствовали здесь руку дьявола. Про себя я Государя за Распутина готов был еще больше любить, и теперь вменяю ему в актив, что при нем возможен был Распутин, но не такой, какой он был в действительности, но как постулат народного святого и пророка при Царе. Царь взыскал пророка, гово-

482

рил я себе не раз, и его ли вина, если, вместо пророка, он встретил хлыста. В этом трагическая вина слабости Церкви, интеллигенции, чиновничества, всей России. Но что этот Царь в наши сухие и маловерные дни возвысился до этой мечты, смирился до послушания этому «другу» (как в трагическом ослеплении зовет его Царица), это величественно, это – знаменательно и пророчески. Если Распутин грех, то – всей русской церкви и всей России, но зато и самая мысль о святом старце, водителе монарха, могла родиться только в России, в сердце царевом. И чем возвышеннее задание, чем пророчесственнее, тем злее пародия, карикатура, тем ужаснее падение. Таково действительное значение Распутинства в общей экономике духовной жизни русского народа. Но тогда это был самый страшный тупик русской жизни и самое страшное орудие в руках революции. Этого не понимали легкомысленные попы, как Востоков, пошло игравшие в демагогию на распутинской теме, но это отлично сознавали мои друзья, которые вели через Елизавету Федоровну скрытую борьбу с Распутиным при дворе, когда А. И. Гучков просил их дать материалы о Распутине для «запроса» в Государственной Думе и они отказались дать эти сведения. Они не хотели революции, которой хотели все, злорадствовавшие о Распутине.

Итак, мировая война застала меня с потаенным чувством мистической любви к Царю и, вместе с тем, с постоянно растравляемой раной в сердце от постоянного попиранья этого чувства. Начавшаяся война принесла нежданный и небывалый на моем веку подъем любви к Царю. Меня лично объявление войны застало в Крыму, вдали от центров. Я лишь из газет узнавал о тех восторгах, которыми окружено было имя Государя. Особенно потрясло меня описание первого выхода в Зимнем дворце, когда массы народные, повинувшись

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
неотразимому и верному инстинкту, опустились перед Царем на колени в
исступлении и восторге, а царственная чета шла среди любящего народа на
крестный подвиг. О, как я трепетал от радости, восторга, умиления, читая
это. Как будто и я сам был там, как будто то видение на Ялтинской
набережной теперь

483

приняло всероссийский размер. Для меня это было явление Белого Царя своему
народу, на миг блеснул и погас апокалипсический луч Белого Царства. Для
меня это было откровение о Царе, и я надеялся, что это – откровение для
всей России. В газетах стали появляться новые речи о примирении власти
(читай: Царя) с народом, за этим последовали восторженные студенческие
манifestации. Улицы столиц увидели неслыханное в истории зрелище:
манifestации молодежи с Царским портретом и пением гимна. Государь ответил
на студенческий привет достойной и теплой телеграммой. Мое сердце рвалось
от восторга. Тогда я написал сумасшедшую статью («Родине»), в газету «Утро
России», в которой промелькнули слова о Белом Царе. Статья была замечена,
что называется, спущена с рук, но не одобрена зоилами, я попал на черную
доску монархизма (а некий Дориан Грей от профессуры, Г. Г. Шаев, прислал
мне ругательное письмо за «Белого Царя», в нем характерно выразилась та
злоба и презрение, которое питает нигилистическая душа к светлomu образу).

Начало войны, принесшее нам неожиданные по своим размерам успехи (ведь мы
все еще жили под гнетом японских поражений, и я отлично помню, как страшно
было за армию с начала войны и как успокаивали и радовали первые победы,
удостоверявшие, что русская армия может еще побеждать). Но скоро начались
затруднения и неудачи; обнаружилась «сухом-линовщина», совершилось принятие
главного командования Государем, вместо Николая Николаевича, который как-то
сделался популярным. Я помню, что это пережито было мною лично, как гибель
страны и династии, – так это и оказалось. Я просто рыдал с этим газетным
листом в руках... Чем дальше, тем напряженнее становились отношения с
Государственной Думой, которая – от Пуришкевича до Милюкова – принимала
революционный характер. В это время с царской властью явно что-то творилось:
какая-то мистическая рука на ней тяготела и вызывала ее судороги. Эта
ежемесячная смена министров, недопустимая и в мирное время, была
температурой чахоточного больного. Я изнемогал от муки, я умирал и был со-

484

вершенно парализован, потому что присутствовал при смертном одре умирающего
дорогого существа – русского царства в лице Царя. И вместе с тем, как
русский патриот и гражданин, я изнемогал от тревоги и скорби за родину: так
немного, казалось, нужно было, чтобы быть любимым, нужно не приближать
всякую сволочь, нужно отказаться от бессмысленных назначений и дикого
произвола. Наконец, после хвост-това (этого самого Хвостова, который привел
меня в отчаяние еще в Орле, теперь, во время мировой войны, видеть
министром!) докатились до Протопопова. Это была настоящая мерзость, и
мерзость эта была на месте святом, пятнала царскую мантию. И в это время от
сгущавшихся грозных туч ударила первая молния, в декабре 1916 года был
убит Распутин.

Я был в Зосимовой пустыни под Москвой на богомолье. В монастыре было, как
всегда, тихо и молитвенно. Простояли, как водится, пятичасовую всенощную,
исповедывались, причащались за литургией, которую совершал епископ Феодор
из Москвы (он меня впоследствии и рукополагал). И вот после обедни, из
номера в номер поползло потрясающее известие. Распутин убит. Кто-то приехал
и привез его из Москвы. Первое и непосредственное чувство было отнюдь не
радости, как у большинства, но смущения и потрясения. А между тем все
радовались, даже и монахи. Преосвященный Феодор перекрестился, узнав об
этом, – помню, как меня это поразило. У меня же было твердое и несомненное
чувство, которое – увы! впоследствии подтвердилось: против нечистой силы
бессильна революционная пуля, и распутинская кровь прольется в русскую
землю. Вместе с тем было смущение относительно бессилия Церкви, которая,
очевидно, не могла заклясть беса, и его сразила офицерская пуля. С этим
чувством я приехал и в Москву, где встретил те же настроения, что и в
монастыре, только не робкие и тихие, но наглые и торжествующие. «Истребить
гадину», – иначе не говорилось. Два года спустя после этого я познакомился
с князем Юсуповым, который мне рассказывал (очевидно, уже десятки раз)
историю этого убийства с его потрясающими подробностями. В его рассказе не
было ничего, кроме аристок-

485

ратической брезгливости, не было даже сознания того, что пуля, направленная в Распутина, попала в царскую семью, и что с этим выстрелом началась революция. Это было уже тогда для меня очевидно. Убийство Распутина внесло недостававший элемент какой-то связи крови между сторонниками революции, а таковыми были почти все. Вокруг себя я, по крайней мере, почти не видел и не знал единомышленников. Это убийство разнуздавало революцию, и стали открыто и нагло говорить и даже писать – правда, не о цареубийстве, но о дворцовом перевороте. В обращение было пущено подлое словцо В. А. Маклакова о перемене шофера на полном ходу автомобиля и среди мужей-законодателей разума и совета совершенно серьезно обсуждался вопрос о том, внесет ли это какое-либо потрясение, или нет, причем, конечно, разрешали в последнем смысле. Я чувствовал себя единственно трезвым среди невольного сумасшествия: иначе нельзя было понять это повальное ослепление. И, конечно, для меня обезвкусивалась, теряла радость Россия без любимого Царя. Особенное недоумение и негодование во мне вызывали в то время дела и речи князя Г. Е. Львова, будущего премьера главноуправляющего-ного правительства. Его я знал во время 2-й Государственной Думы, как верного слугу Царя, разумного, ответственного, добросовестного русского человека, относившегося с непримиримым отвращением к революционной сивухе, и вдруг его речи на ответственном посту зовут прямо к революции, – такова была, например, его прокламация по поводу неразрешенного всероссийского земского съезда. Это было для меня показательным, потому что о всей интеллигентской черни не приходилось и говорить. Не иначе настроены были и мои близкие: Н. А. Бердяев бердяевствовал в отношении ко мне и моему монархизму, писал легкомысленные и безответственные статьи о «темной силе»; князь Е. Н. Трубецкой плыл в широком русле кадетского либерализма и, кроме того, относился лично к Государю с застарелым раздражением (еще по делу Лопухина). Г. А. Рачинский, конечно, капитулировал по всему фронту и был левее левых (впрочем, он и прежде был таков же). Из моих друзей только П. А. Фло-

486

ренский знал и делил мои чувства в сознании неотвратимого и отдавался обычному для него *amor fati*. Л. В. Успенский, любимый из моих учеников и молодых товарищей, которому я мог открывать свою душу, спорил со мною как политическим утопистом. А я, повторяю, чувствовал себя единственным трезвым среди пьяных, единственным реалистом среди всяких иллюзионистов, и мой реализм был православием, моя трезвость – любовь к Государю. Я видел совершенно ясно, знал шестым чувством, что Царь не шофер, которого можно переменить, но скала, на которой утверждаются копыта повиснувшего в воздухе русского коня.

Незабываемым по силе и остроте впечатления остался в моей памяти один декабрьский вечер в квартире Угримовых в Никольском переулке. Там делился своими впечатлениями только что вернувшийся с фронта И. П. Демидов. Я знал его раньше как исключение среди кадетов по своей церковности, почвенности и вообще какому-то особенно напряженному строю души. Его доклад был богат содержанием, он сообщил много удивительного и трогательного о русском солдате, давал полную надежду на победу, но являлся сплошным обвинительным актом против Царя как Главнокомандующего, за его безответственные и вредные действия по смене начальствующих отдельными частями и армиями. Доклад был гневен, страстен и по-своему убедителен, он заставлял думать, что русское дело в неверных руках, и эти руки надо устранить во имя победы, для спасения родины. Этот самый фальшивый и самый опасный лозунг, который изобрела и которая победила революция, не останавливающаяся ни перед какой, даже самой заведомой ложью, здесь провозглашался устами искреннего и доброго, но слабого мыслью и волей, как и все мы, русского человека, и от этой авторизации приобретал особую убедительность. Он свидетельствовал, что революция проникла уже на фронт, отравила высшее командование. Я чувствовал в этот вечер, как смерть входила в мою душу. Начался обмен мнений, который сводился к полному согласию с оратором относительно необходимости перемены шофера и только спрашивали его, как примет это фронт, и не пошатнется

487

ли, причем, с одной стороны, выражали уверенность, что это пройдет незамеченным и фронтом, и страной, и опасностью для обороны совсем не

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
угрожает. Был ряд ораторов, в числе их я запомнил именно Н. А. Бердяева, потому что он по обычаю говорил против меня и бил именно по мне. Из всех только я о д и н говорил против, то есть выражал ту простую мысль, что революция, хотя бы и дворцовый переворот, не может пройти незаметно, не вызвав потрясений на фронте. Сочувствовал мне только один протоиерей отец И. Фудель, который при выходе сказал мне упавшим и полным отчаяния голосом, что он давно уже видит всю неизбежность революции и всю ее гибельность. Но в этом чуждом для меня собрании и он молчал, да и мое выступление имело значение только для исповедания веры. О, как часто впоследствии вспоминал я этот декабрьский вечер с его безвыходной тоской. В это время в Москве происходили собрания, на которых открыто обсуждался дворцовый переворот и говорилось об этом как о событии завтрашнего дня. Приезжал в Москву А. И. Гучков, В. А. Маклаков, суетились и другие спасители отечества. Во главе власти стоял в это время Штюрмер, а министром внутренних дел был сделавшийся быстро всем ненавистным и никому немилым и ненужным Протопопов, ведший политику ничтожества и страха. И вот грянула роковая гроза.

Начало ее застало меня опять не дома, а на богомолье у Троицы. 26-го февраля, день рождения моей жены, мы привыкли проводить у Троицы-Сергия, были там и на этот раз. Так хорошо было оказаться среди снегов, в скитах и в окрестностях посада. Возвратясь к вечеру домой, мы узнали по телефону, что в Петрограде происходят события: распущенная Государственная Дума отказалась повиноваться и объявила себя временным правительством. Известия шли за известиями с удручающей быстротой и несомненностью, и очень быстро революция передавалась Москве. Уже на следующий день появились на улицах сначала угрожающие объявления, а затем «революционные бюллетени», которые, по привычке, сначала было страшно читать, однако читались всеми, и там уже открыто оповещалось о ходе революции в столице. И с-

488

ч е з л а полиция, но вскоре начали ловить и водить переодетых городских и окол од очных, с диким и гнусным криком толпа провожала затравленных зверей. Улицы все более переполнялись народом. На следующий день около манежа уже появились военные части и неслись какие-то автомобили, на которых появились сразу зловещие длинноволосые типы с револьверами в руках и соответствующие девизы. Кремль был взят почти без одного выстрела, и к вечеру Москва оказалась в руках революционной власти. Эти дни улицы были полны народом, который шел с гнусными революционными песнями на гнусные свои демонстрации. Временами слышались всплески – это долавливали городских. Объявлено было «благодарственное Господу Богу молебствие», шли войска на парад, и там было кощунственно и гнусно. Все радовались, все ликовали, красный Дионис ходил по Москве и сыпал в толпу свой красный хмель. Все было в красном, всюду были гнусные красные тряпки, и сразу же появились не то немцы, не то большевики с агитацией против войны. У меня была смерть на душе. Революция была мне только постыла и отвратительна. Я хорошо по-мнил революцию 1905 года, чтобы не предаваться ни в какой мере обаянию... И, вместе с тем, я любил Царя и изнывал в тревоге за Царскую семью. Однако был момент малодушия, когда я захотел выдавить из себя радость, слиться с народом в его «свободе». Не хватило характера презирать и негодовать до конца. Я шел по Остоженке в народном шествии в день парада и пьянил себя. Однако этого хватило на полчаса, и ничего не вышло, кроме омерзения. Я видел и чувствовал, что пришел красный хам, что жизнь становится вульгарной и низкой, и нет уже России. А между тем кругом все сходило с ума от радости, и как я ни сторонился в эти страшные дни, но и мне приходилось попадать в круги профессионально радующихся. Так, например, в кругу профессоров и студентов – демонстративно хоронили в красном гробу одну жертву революции – произносились ликующие речи, делались соответственные обещания, распространялся «заем свободы», брехня Керенского еще не успела опостылеть, вызывала восхищение (а я еще за много лет по отчетам Думы возненавидел этого ничтожного болтуна). И я,

489

мрачным Гамлетом, хотя, конечно, не обнаруживавшим своего разочарования (хотя и молчание на фоне общего исступления было достаточно красноречиво), проходил среди этих сумасшедших. Была Крестопоклонная неделя Великого поста. – Об этом, конечно, все забыли, а у меня были самые тяжелые предчувствия от этого символического совпадения. Однако вся мысль и забота (увы! бессильная и бездейственная!) была о Нем, о Помазаннике. Что с Ним? Удержится ли он на престоле? Если да, то можно мириться со всякими

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org ответственными министерствами (так тогда казалось, в страхе за него, быть может, и неверно казалось). Затем поползли слухи о вынужденном отречении: я и этого ждал, потому что знал сердцем, как там, в центре революции, ненавидели именно Царя, как там хотели не конституции, а именно свержения Царя, какие жиды там давали направление. Все это я знал вперед и всего боялся – до цареубийства включительно с первого же дня революции, ибо эта великая подлость не может быть ничем по существу, как цареубийством, которая есть настоящая черная месса революции. И вот понеслась весть за вестью: Царь отрекся. Одновременно с этим в газетах появились известия об «Александре Феодоровне» (по новой жидовской терминологии, с которой нельзя было примириться): больны корью Царевны, болен Наследник, и она под арестом. Слезы, бессильные и последние, душили при чтении, а газетчики кричали по улице гнусные слова: «Арест Романова» и пр. Государь был действительно арестован и отвезен в Царское Село, там соединен с семьей. Стали доходить только отрывистые сведения о нем, хотя поражало, что во всем этом море лжи, клеветы и ругани он выходил прекрасным и чистым. Ни единого неверного, неблагородного, нецарственного жеста, такое достоинство, такая покорность и смирение. Подходила Пасха. Мысль о них: что с ними, как? Появилось сведение, что они говели, причащались, что к ним допущен священник. Рассказывалось, что Государь работает в саду, и как оскорбляют его хамократы. И, однако, оглушающий поток событий несся с такой стремительностью, что заставлял забывать о царскосельских узниках до новых слухов или известий.

490

В АЙА-СОФИИ [20]

Из записной книжки 9(22) января 1923 года. Константинополь

...Вчера я впервые имел счастье видеть св. Софию. Бог явил мне эту милость, не дал умереть, не увидев св. Софию, и благодарю за эту милость Бога моего. Я испытал такое неземное блаженство, что в нем – хотя на короткое мгновение – потонули все теперешние скорби и туги, как незначущие. Душе открылась св. София как нечто абсолютное, непререкаемое и самоочевидное. Из всех ведомых мне доселе дивных храмов это есть Храм безусловный, Храм вселенский. Звучит пасхальная песнь в душе: «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь; се бо приидоша к тебе, яко бо-госветлая светила, от запада и севера и моря и востока чада твоя...» Эта непередаваемая на человеческом языке легкость, ясность, простота, дивная гармония, при которой совершенно исчезает тяжесть, – тяжесть купола и стен, это море света, льющегося сверху и владеющего всем этим пространством, замкнутым и свободным, эта грация колонн и красота их мраморных кружев, эта царственность – не роскошь, а именно царственность, – золотых стен и дивного орнамента, – пленяет, умиляет, покоряет, убеждает... Появляется чувство внутренней прозрачности, исчезает ограниченность и тяжесть маленького и страждущего «я», нет его, душа исцеляется от него, растекаясь по этим сводам и сама с ними сливаясь. Она становится миром: я в мире и мир во мне. И это чувство таяния глыбы на

491

сердце, потери собственной тяжести, это ощущение крылатости, как птицы в синеве неба, дает не счастье, не радость даже, но блаженство – какого-то окончательного ведения, всего во всем и всего в себе, всяческого всячества, мира в единстве. Это действительно София, актуальное единство мира в Логосе, внутренняя связь всего со всем, это – мир божественных идей, κόσμος νοητός. Это Платон, окрещенный эллинским гением Византии, это – его мир, его горняя область, куда возносятся души для созерцания идей. Языческая София Платона смотрится и постигает себя в христианской Софии, Премудрости Божией, и поистине храм св. Софии есть художественное, нагляднейшее доказательство и оказательство, явление св. Софии, софийности мира и космичности Софии. Это и не небо, и не земля, свод небесный над землею. Здесь не Бог и не человек, но сама Божественность, божественный покров над миром. Как правильно было чувство наших предков в этом храме, как правы были они, говоря, что не ведали они, где находятся: на небе или на земле. Они и на самом деле были ни на небе, ни на земле, но между, в св. Софии: это μετὰ τὸν было философским провидением Платона. И св. София есть последнее, молчаливое откровение в камне греческого гения, завещание векам, которого не могли до конца осознать и богословски выразить сами гаснущие византийцы, и, однако, она жила, как высшее откровение в их душах, зарожденная в эллинизме и явившая себя в христианстве. И не случайно, что

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
здесь, в св. Софии, для Софии и из Софии, складывалась и зазвучала во всей полноте и красоте божественная, софийная симфония православного богослужения. И здесь с новой силой, убедительностью, самоочевидностью понятен неведомый ему самому, полный смысл слов св. Иустина философа, что Сократ и Платон были христианами до Христа, ибо Платон был пророком Софии в язычестве. Св. София есть платоновское царство идей в камне, – восставшая над хаосом небытия и его победившая, ибо убедившая, идея, актуальное все, все как единое, всеединство. Оно явлено и показано здесь миру. Боже, как свято, как дивно, как неоцененно это явление!

492

Входишь... И отовсюду, сверху и снизу, со всех сторон душу наполняет это чувство пространства и свободы, безмерности и ограниченности, не борьба грани – πέραις – с безгранностью, – ἀπέρι ρον, но светлого, радостного согласия: утолен титанизм, укрощено его безысходное буйство, он скрылся в ночь, просветленную днем.

Останавливаешься д о купола: он впереди. Со стен звучит тихо и певуче это золото, оттеняемое дивным благородным орнаментом: воображение тщится снять и щиты, и закраску, чтобы вернуть былое величие, но и уцелевшего довольно: разве Венера Милос-ская нуждается в исполнении, чтобы явить свою красоту? Стены издают свое золотое звучание. Разве может не быть золотым, не сверкать нетленным, нержавеющей металлом храм, его стены? Тогда для чего и существует золото в мире? Разве могут быть не золотыми, не украшенными драгоценными камнями здания небесного Иерусалима, спустившегося на землю? Это само собою разумеется, и здесь это показано. Пред глазами колоннады и справа и слева, говорят, из языческих храмов взяты сюда эти колонны, из капищ в Храм, к новому освящению. Впереди – алтарь, вернее, устремление к алтарю, которое теперь одно лишь наполняет опустевшее святилище. А свод зовет к себе, под себя, еще и еще переживать его небесность. Иходишь, становишься под ним, в самой его середине, он тихо и властно объемлет душу и входит в нее... Запрокидываешь голову, насколько можешь, чтобы глотнуть его полной грудью, напиться его и раствориться в нем, и душа уплывает в его безмерность. Теряется чувство тяжести, телесности и на мгновение летишь, летишь как птица. А затем снова опускаешь голову и изумленно опять смотришь на высящийся алтарь, на боковые колоннады, на галереи хоров с кружевами мрамора, с неумолкающим звучанием золота стен, и снова улетаешь к своду... О, я это знаю, ибо не раз испытывал в жизни блаженство экстаза пред великими созданиями искусства, софиевдохновенными творениями, – и всякий раз было это с в ое, не повторяющееся, – тоже блаженство, но всегда различное,

493

индивидуальное. И здесь – после безысходного рабства, рабства рабам и голоду, самым пустым и мертвящим стихиям мира, которое, мнилось, убило и самую душу, ибо навсегда выжгло на ней клеймо раба, – это свобода в Софии, полет в лазури... Благодарение Софии.

делаешь шаги к бывшему алтарю, ныне опустевшему и лишенному своего престола. Здесь мысль невольно несется к прошлому: как было тогда, если и опустошенный храм еще так дивен... Что было здесь, когда Царь и Патриарх со всем синклитом и клиром в золотых ризах, в золоте небесного Иерусалима священнодействовали, и храм был наполнен молящимися, и алтарь горел огнями, и курился фимиамом: когда была полнота жизни, а не омертвелое тело! Какой был замысел богодействия, богослужения в этом Храме, не было на земле подобного замысла, как не было и подобной красоты богослужения. Пусть это была роскошь, императорская затея, ненужность или вред для современников, ведь и жена, сотворившая благолепное (χαλόν) дело миропомазания, тоже непрактично творила. Но должна же была ошутительно сверкнуть в мире золотая риза Софии. А ныне? Ныне здесь молятся Аллаху, святыня отнята с Христа и отдана лжепророку. И соблазняются о ней сыны человеческие. Однако и теперь здесь молятся Богу и молятся достойно, и достойнее, может быть, тех, кому принадлежал бы ныне Храм... Бог сдвинул светильник и отдал Храм чужому народу, как некогда отдал святыни Первого Храма завоевателям...

А они, между тем, молились, и ничего не было шокирующего в том, чтобы присутствовать при этой молитве, в которой я не мог соединяться с ними, в Храме, зовущем «к единению всех». Но как прекрасна по-своему, как благообразна была эта молитва, как благочинна! Как величественны и строги были их движения, склонения и подъятия, как благородно звучали их восточные

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
напевы молитвословия. Они, пленив Храм, его обарабили, внесли в него свое
лицо и свою душу. Они, конечно, и не заметили Храма, они не знают св.
Софию, превратив ее, Храм мира, в султан-

494

скую мечеть, – детская наивность, которая, однако, длится века. Но они
явились благоговейными «местоблюстителями». И их молитва, их благочестие
производит чарующее, примиряющее впечатление: «из уст младенцев и сущих
совершил еси хвалу». Они – «младенцы и ссущие». Храм отнят от недостойных
его и вверен местоблюстителям. И невольно подумалось: очевидно, они
достоиннее нас, тех, которые так шумно собирались еще недавно «воздвигать
крест на св. Софии», чтобы в ней бесчинствовать потом безвкусицей своим и
рабством своим... Но София этого не допустила, отвергла непрошенных
восстановителей и осталась в руках прежних детей... Так лучше...

София есть Храм вселенский и абсолютный, она принадлежит вселенской Церкви
и вселенскому человечеству, и она принадлежит вселенскому будущему Церкви.
А теперь, пока нет явления вселенской Церкви в ее силе и славе, в век
раскола церковного, внешнего и внутреннего, в век распада и обособления,
отнят он у христиан и отдан местоблюстителям. И снова: какая слепота, какая
детскость была у нас, когда мы возомнили себя вступавшими в эпоху Софии,
когда приготовили уже, говорят, крест в Петрограде, может быть, даже и указ
Св. Синода об утверждении креста на Храм... Окровавленными сапожищами
вступивши в Софию, завести в ней свои порядки, или пробовать синодальным
хором покорить и убедить эти стены. Но в гневе воззрел Господь на дела
сынов человеческих и посмеялся над им. Правы пути Твои, Господи! Одно из
двух. Или София есть лишь археология, архитектурный памятник с начавшимся
уже неизбежным разрушением, и тогда вся эта затея воздвигать крест на ней
была только великодержавным честолюбием, – однако, против этого говорит
София сама, здесь слышится зов Божий, веление Божие, непреложное
обетование, София живет божественной, бессмертной жизнью – София есть
потрясающий факт христианского сознания для всех времен. Или София
действительно есть то, что она есть, божественный символ, пророчество,
знамение. У старообрядцев есть мудрое, как я вижу теперь, верование, что

495

восстановление креста на Софии (конечно, не цир-кулярно-завоевательное, но
всемирно-историческое) означает конец истории. Если освободить эту мысль об
эсхатологического испуга, ее окрашивающего, и выявить скрытое в ней
видение, то она означает, что София, станет осуществима лишь в полноте
христианства, то есть в конце истории, когда явлен будет ее последний и
зрелый плод, и сверкнет в мире православное Белое Царство. Ему, а не
политическому завоевателю, не «всеславянскому царю» откроются врата
Царьграда, и ему дано будет воздвигнуть крест на Софии, которую освятит не
распутинский ставленник, как и не «вселенский» патриарх, но в сознании
своим иерарх вселенский... И посему история еще не кончена, и р а н о
собрались мы воздвигать крест на Софии. Мы все еще в «средних веках», в
смысле варварства, но идем к новому средневековью, в смысле грез и
вдохновения. Опускается ночь со своими тайнами и с своими звездами, –
гряди, ночь! Ибо то не ночь мрака и тьмы, но ночь пред зарю, ночь
предвоскресная. Мы еще в истории, и впереди – история, хотя уже и
предчувствуем конец, история внутренне не завершилась, она идет своим
путем, и мы с нею и в ней. Прочь смутный страх, навеянный тяжелым часом
истории, кризисом России и с нею Европы, немлите гласу св. Софии, ее
пророчеству! Она не только в прошлом, но и в будущем, она зов векам и
пророчество о них. Да, история здесь внутренне окончится, и станет возможно
не от испуга или утомления говорить об «эпизоде истории» – Соловьев рано об
этом заговорил, хотя и не рано указал молчаливым жестом на уже рдеющий
конец... Есть еще история; она не разрешилась, пока мир не увидел
христианской Софии, пока не стала она, хотя на историческое мгновение,
победным фактом истории, вот о чем поведали мне вековые и, говорят, уже
разрушающиеся и близкие к падению стены. Что, если они падут? Но «церковь
не в бревнах, а в ребрах», по выражению старообрядцев. Даже если бы пали
священные стены – чего да не будет! – не уйдет из мира явление Софии...

Разумеется, принято считать, что время Софии в прошлом, когда не владели ею
неверные, когда был

496

православный царь в Царьграде и около него православный патриарх, и София была царьградским кафедральным собором. В сущности, именно о восстановлении прежнего только и мечтают и мечтали наши родичи, духовно смотря не вперед, а назад, вопреки непреложному закону исторической необратимости. И, однако, до очевидности это – не так: то был «византинизм», принявший себя за вселенское христианство и за христианское царство, но при всем своем безмерном великолепии и своей единственности он не был ни тем, ни другим. И св. София, высшее создание христианского эллинства (как и православный чин церковный), не есть уже византинизм, возвышается над ним как началом, которое, будучи поместным, возвеличило себя до вселенского, есть уже его отрицание. Почему возможна оказалась св. София в Византии? Как могла она строителем иметь Юстиниана, так глубоко в себе отразившего именно византийство? Это – историческая тайна. София пережила византизм и живет вместе с нами и в нас так же, как живет Платон, хотя нет уже его эллинов. Конечно, было бы делом величайшей слепоты и исторической неблагодарности отделять Софию от породившей ее Византии. Ибо тот же самый эллинский гений, который породил и богословие вселенских соборов, воздвиг над Церковью купол христианской догматики и покорил мир церковного сладостью богослужения. И вне эллинства не мог зазвучать с такой победной чистотой голос Софии, зов вселенского христианства, как не зазвучал он *in urbi et orbi*, хотя здесь повелительно провозглашен был закон римской власти, отнесенный к вселенской церкви. Однако не вселенская власть утверждает вселенскую Церковь, а вселенская любовь. И когда вдохновенные зодчие Софии впали в надмение византизма и заветы Софии заменили дряхлым самолюбованием, в это же время вселенские заветы Вечного города переродились в надмение «римского примата», судорожно сжимающего два меча и ими пытающегося покорить мир. И эта двойственная измена Софии, восточная и западная, эта историческая неудача вселенского христианства разразилась над миром потрясаю-

497

щей духовной катастрофой, которую донныне не изжил, но изживает уже мир. Среди исторических развалин, во мгле разрушения, явственно слышатся снова все те же веления, и о том же говорит душе ныне Царьградская София, чудный Храм эллинства. И в этом (если позволено схоластически выразиться) художественном доказательстве бытия Софии, которое и философски дано тоже эллинством, содержится и непререкаемое свидетельство самобытности восточного христианства, от Византии переданного и России. Есть и во вселенской церкви свой восток и свой запад, хотя она их объемлет и совокупляет в единый востокзапад, в «мире Востока и Запада». Небрежением этого двуединства поддерживается схизматический дух, одинаково, как в стремлении к поглощению и ассимилированию, так и в упорном отчуждении. Изменой Софии явилось это расторжение, и, пока не осознано это, не пришло время ее восстановления.

Мысль невольно отходит в русскую Византию, в наши русские, домашние, семейные храмы, полные тепла и уюта. И тоже купол над ними, но это купол над домашнею церковью, небо в клетку, в доме... Этот купол не есть свод над всею вселенной, о которой говорит св. София, он есть его *præius*, ему предшествует и в истории его предполагает. Это – изначальная интимность первохристианства, катакомба, монастырь, но это еще не мировая история, не человечество, а св. София есть это человечество.

И медленно переходишь с места на место, из точки в точку, причем все в новых переливах и новых перспективах открывается этот свод небесный. Время остановилось, а между тем зовут, надо идти. А там молятся, припадают, кланяются мусульмане на месте святе, ныне опустелом, у былого св. престола. Как природны, как величественны лица молящихся, как красивы движения! Нет, не пришло еще время освободить св. Софию, когда снимаются кресты с русских храмов, пусть там благочестиво молятся местоблюстители. Боже, до чего таинственны пути истории...

Русские славянофилы неизменно относили пророчества о Софии к всеславянскому православному

498

царю: «Пади пред ней, о царь России, – и встань, как всеславянский царь!» Но и этого мало для Софии. Что для космоса Россия? Провинция. Славянство? Этнографическая группа. Но София – всенародна и сверхнародна, она – не

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
национально-местная, но вселенская церковь, все народы зовущая под свой купол. А ее хотели сделать поместною, народною, приходскою церковью, ее, кафедрал мира. София была создана раньше великого церковного раскола и возвращается она может быть христианскому миру, лишь когда последний исцелее от этой раны. Как не понимали этого славянофилы, что невозможно церковной провинции иметь храм св. Софию? Заветы христианского царства отданы Востоку, который, однако, не мог преодолеть смешения Царства с Империей и изнемог от этого смешения, но все же неотделимо от него томление о вселенском белом царстве; западу досталась в удел мечта о вселенском первосвященстве, хотя и его он подменил приматом власти и господства. И ныне, в небывалом еще кризисе христианского мира, по-разному рушились – явно или при-кровенно, – оба древние Рима: и первый и второй (и третий, который был лишь вариантом и продолжением второго). Но это не значит, что рушилась Церковь с ее заветами и обетованиями. Восстанет новый истинно третий Rota-Agor, который ответит на все томления. И пусть не будет он так приметен во внешних путях истории, как высились в ней Рим, Византия, Москва. Но раньше конца (впрочем, это и будет концом, как свершением) – должна явиться полнота Церкви. О ней пророчествует св. София, о ней звучит она в сердцах немолчным звоном. И этот звон услышат и придут на него ее избранники...

...Или и это мечтательность? О, как я научился, – в эти страшные годы, – и в себе и в других казнить эту сентиментальную мечтательность как роковую слабость, от которой смертельно болеет Россия! Как изощрился мой глаз видеть ее там, где раньше ее не подозревал, как обесценивалось и обезвкусивалось под влиянием этого многое, многое и в русской литературе, и в русском народе, и в себе самом. Как невы-

499

носимо сделалось всяческое безответственное славя-нофильствование! Так что же? Из каменного мешка попав в свободный мир, не выдержал, снова закружилась голова? Опять началась постройка карточных домиков, новых схем? Но «не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». И если бессильно в израненной душе звучит этот голос, но я его слышу. Это – не мое, не смутные мерцания настроений, не «имагинация», это – голос истории, это – преобладающая сила Церкви... Но зовут. Пора идти...

От. С.

500

ДВЕ ВСТРЕЧИ (1898–1924) [21] из записной книжки. Прага. 10(23) ноября 1924

...И вот я в вагоне, один, со своими думами. Порою испытываешь почти головокружение от внутреннего их напора, и маленькое поле сознания кажется слишком узким, чтобы вместить их наползающие облака. Словно хочется всю грудь наполнить воздухом, а не можешь вздохнуть. Вместе с катастрофами и... чудесами этого века переживаешь и свои собственные катастрофы, также с их чудесами, и радостно-наивное, благодарное удивление тихо и властно объемлет душу. И в самом деле: разве не чудесны они и эти новые нежданно развернувшиеся страницы в моей нескладнице жизни и темной судьбе. Вот я еду сейчас, на закате жизни, из Праги в Берлин, где был только четверть века назад (всю свою зрелую жизнь я «бойкотировал Запад», славянофильствуя, и за границу почти не ездил). И я был тогда глупым-глупым, наивным-наивным марксистом, с благоговением взиравшим на самую улицу, по которой ступали «вожди», и в услаждение была мне вся тошнота берлинского асфальта и убийственное бездушие улиц. Мое знакомство состояло тогда также исключительно из «вождей» германской социал-демократии – Каутский и Бебель, Браун и Адлер, – других я не замечал. Я находился в то время в нежной переписке с Плехановым. Такое состояние молодого социал-идиотического щенка продолжалось, конечно, недолго, и очень скоро и быстро нача-

501

лось «линяние». Но и тогда голодающая душа умела находить ключи живой воды – в искусстве, оно ведь не было вполне запрещено катехизисом и уж, конечно, оно таило в себе силу духовных революций и потрясений. И даже в самые темные дни своего марксизма я оставался неразлучным с Мусоргским и Достоевским, Гете и Пушкиным, и как раз в Берлине переживал могучую мистику Вагнера, отдаваясь ей, может быть, безудержней, нежели следует. Ходил я по

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
картинным галереям, как полагается иностранцу-туристу, вероятно, с видом довольно вислоухим, оставаясь безразличным и холодным до тех пор, пока не произошла эта встреча, неожиданная и благодатная. Произошло то, что бывает только в решительные и определяющие роковые мгновенья. Я увидел и с первого же взгляда принял в сердце Сикстинскую мадонну Рафаэля в Дрездене. Это не было чисто художественное впечатление, эта встреча явилась событием моей жизни, – вернее сказать, то было настоящее духовное потрясение, благодарная память о нем живет в душе и поныне и след его сохраняется в сердце через всю жизнь. Я пытался однажды немотствующим словом выразить неизреченное. Лучше не сумею и теперь, повторю лучше сказанное тогда.

«Пришла новая волна упоения миром... первая встреча с Западом и первые ее восторги: «культурность», комфорт, социал-демократия... И вдруг неожиданная чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь, в Дрездене, Сама Ты коснулась моего сердца и затрепетало оно от этого зова.

Проездом, спешим осенним туманным утром, по долгу туристов, посетить Zwinger со знаменитой его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули очи Царицы Небесной, грядущей в небесах с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности, знание страдания и готовность на вольное страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что Они обречены,

502

и вольно грядут себя отдать совершить волю Пославшего: Она – принять «орудие в сердце», Он – Голгофу... Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо... Я (тогда марксист) невольно называл это созерцание молитвою и всякое утро стремился попасть в Zwinger, пока там еще никого не было, бежал туда, пред лице Мадонны, «молиться и плакать», и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез...

(«С вет Невечерний». Зовы и встречи. С. 8–9).

Так было тогда. Но в подсознании теперь уже слышатся иные, еще невнятные шепоты, ждут какие-то новые впечатления. Как переменялось все с тех пор! Давно позабыто мальчишеское социал-идиотство, слиняло и славянофильство, окончательно определились, наконец, мои церковные судьбы. «Und B-ff ist fromm geworden!» передавали мне исполненное комического негодования или недоумения восклицание Каутского, относительно подававшего надежды Partei-genosse еще лет 10 назад. За эти годы B-ff ist Priester geworden. И с чувством некоего Doppelganger'a вступаю я на улицы того былого Берлина, которого, конечно, так же уже нет, как и нет уже давно и того наивного, благочестивого марксистского юнца. Однако теперь мне нечего делать с улицами Берлина, это я знаю: здесь нет у меня уже никакого «романа». Но заранее бьется сердце при мысли о новой встрече с творением, которое так меня тогда поразило и потрясло. И надежда на эту встречу и мысль о ней появилась у меня сразу с того самого момента, когда я по велению судеб снова неожиданно получил бессрочную командировку в Европу. Здесь, именно здесь, нужно мне что-то существенное проверить, осознать и увидеть, хотя бы при этом пришлось, может быть, потерять, похоронить близкое, дорогое, важное... Остановка в Дрездене между поездами. Стремлю свой бег, спеша и волнуясь, в Zwinger. Только отчего же нет в душе радости, скорей в ней тревога и неуверенность? Пробегаю чрез

503

зал, ни на что не глядя, прямо в ту заветную комнату... С трудом от волнения подымаю глаза. Первое впечатление было, что я не туда попал, и предо мною не Она. Но скоро узнаю и убеждаюсь, что это Она, и, однако, действительно, не Она, или я уже – не – о н. Увы! не ударила в сердце радостно волною горячая кровь, оно не дрогнуло, осталось спокойно. Неужели же так оно охладилось за всю долгую жизнь? Но нет, не то, не то: моя не состоялась встреча, здесь я не встретил того, чего ожидал. К чему таить и лукавить: я не увидел Богоматери. Здесь – красота, лишь дивная человеческая красота, с ее религиозной двусмысленностью, но... безблагодатность. Молиться пред этим

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
изображением? – да это хула и невозможность! Почему-то особенно ударили по нервам эти ангелочки и парфюмерная Варвара в приторной позе с кокетливой полуулыбкой. Я помню, что и раньше всегда мне это мешало, но я как-то сравнительно легко справлялся с ними. Но теперь это ощущалось мною как откровенное нечестие, неверие и какая-то кощунственная фамильярность: ну, можно ли после видения Матери Божией брать такой тон, как будто глумиться над собственной святыней? Можно ли быть нестрогим в... иконе? Но я кое-как перешагнул через это и теперь и впился глазами в лики Матери и Младенца. Без вдохновенья, с щемящей болью от пустоты в сердце я, вместе с тем, не хотел и оторваться от созерцания; я оставался перед нею все время до закрытия, и, кажется, сидел бы еще до самого вечера, всматриваясь, впиваясь в этот образ с его загадочным очарованием, с его магической притягательностью. Теперь я отдавался ему без восторга и без поклонения, однако, сознавая всю его значительность и силясь теперь по-новому его разгадать. Одно стало для меня уже с первого взгляда – увы! – несомненно: это не есть образ Богоматери, Пречистой Приснодевы, не есть Ее икона. Это – картина, сверхчеловечески гениальная, однако совсем иного смысла и содержания, нежели икона. Здесь явление прекрасной женственности в высшем образе жертвенного самоотдания, но «человеческим, слишком человеческим» кажется оно. Грядет твердой

504

человеческой поступью по густым, тяжелым облакам, словно по талому снегу, юная мать с вещим младенцем. Это, может быть, даже и не Дева, а просто прекрасная молодая женщина, полная обаяния красоты и мудрости. Нет здесь Девства, и наипаче Присно-девства, напротив, царит его отрицание – женственность и женщина, пол. Приснодевство же свободно и от женственности, ибо оно выше пола, оно освобождает его от плена. Посему Пречистая Присно-дева не может быть рассматриваема как женщина, хотя Она выражает женскую ипостась в человеке. Женское еще не есть пол. Присно дева – ἄει παρθένοϋς – пребывает превыше пола. Присно – ἄει здесь есть не временное определение в смысле состояния, но онтологическое в смысле существа: в Присно-деве Марии отсутствует женственность, в женщине сопричастная греху, но всецело царит только девство, в Женском образе. Вот почему бессильным, ибо ложным, оказывается всякий натурализм при Ее изображении, сколь бы возвышенным и утонченным он ни являлся: он владеет лишь природностью, а последняя знает только женщину. В ведении этого соотношения ослепительная мудрость православной ико-ны: я наглядно почувствовал и понял, что это она обезвкусила для меня Рафаэля вместе со всей натуралистической иконографией она открыла глаза на это вопиющее несоответствие средств и заданий. В аскетическом символизме строгого иконного письма ведь заключается прежде всего сознательное отвержение и преодоление этого натурализма, как негодного и неуместного, и просвечивает видение сверхприродного, благодатного состояния мира. Поэтому икона не имеет отношения и к портретности, ибо и в ней неизбежно таится натурализм, к которому роковым образом и влечется религиозная живопись. И вот почему последняя никогда не достигает цели, если видит свое достижение в религиозном, а не живописном эффекте.

Этим определяется судьба всего Ренессанса как в живописи, так и в скульптуре и архитектуре. Он создал искусство человеческой гениальности, но не религиозного вдохновения. Его красота не есть святость, но

505

то двусмысленное, демоническое начало, которое прикрывает пустоту, и улыбка его играет на устах Лео-нардовских героев [22].

Творение Рафаэля отличается своим особым напряжением, оно ищет средствами этой двусмысленной и уже в этой двусмысленности греховной красоты явить Богородичное начало. И этим-то заданием и создается то особое осложнение и особое смущение, которое я впервые ощутил только теперь. Я невольно вспоминаю при этом, как неодобрительно были встречены в свое время мои бурные восторги перед Мадонной моими «товарищами» более строгого стиля, причем один из них уверял настойчиво и вызывающе, что Мадонна в его неповрежденном социал-демократическом сознании вызывает... только мужскую похоть. Я настолько негодовал тогда на это варварство, что слова его как-то не дошли до моего сознания и остались в памяти лишь в качестве редкого примера духовной грубости: было такое впечатление, как будто человек не нашел ничего лучшего, как непечатно выругаться в церкви. Пример подобной же

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
изоощренной грубости относительно Мадонны я имел еще в беседе с Л. Толстым в последнюю нашу встречу в Гаспре 1902 г., когда он оправлялся после опасной болезни. Я имел неосторожность в разговоре выразить свои чувства к Сиксти-не, и одного этого упоминания было достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с одержанием. Глаза его загорелись недобрым огнем, и он начал, задыхаясь, богохульствовать. «Да, привели меня туда, посадили на эту Folterbank, я тер ее, тер ж..., ничего не высидел. Ну что же: девка родила малого, девка родила малого – только всего, что же особенного?» И он искал еще новых кощунственных слов, тяжело было присутствовать при этих судорогах духа. Я вспоминаю об этих выходках как доблестного мыслителя с-тии, так и «великого пи-

506

сателя земли русской» потому, что сейчас они мне показались более показательными, нежели тогда, и я понял, к ч е м у они относятся. Теперь я увидел и почувствовал нечистоту, нецеломудрие картины Рафаэля, сладострастие его кисти и кощунственную ее нескромность.

В изображении Мадонны неуловимо ощущается, действительно, мужское чувство, мужская влюбленность и похоть. Слишком ли очеловечил художник образ Благодатной, или же оказался бессилён найти средства для его приближения, но несомненно одно: здесь произошел внутренний срыв, вследствие которого получается подмен, и он-то болезненно и почувствовался мне теперь. И снова думается невольно: как мудро, с какой безошибочностью поступает здесь церковная иконография, не делая уступок сентиментальности и не давая никакого поощрения чувственности: все покровенно и недоступно взору, кроме лика и рук, но и они неизменно прикрыты трансцен-дированным стилем, стилизованы. Икона не дает места похоти и ее тончайшим усладениям, поэтому она суха и бессодержательна для их любителей, но потому на икону и можно молиться трезвенно и без соблазна. А здесь? У меня как будто только впервые теперь открылись глаза на то чисто женское очарование, которое хотел здесь явить художник, и на всю преднамеренную нескромность, и тонкую чувственность этого изображения, и эти чуть-чуть больше, чем следует, приоткрытые волосы, нежность кожи и поворот шеи, очертание рта, красота рук и ног, – вся эта женская прелесть, эта столь неуместная здесь и шокирующая эротика и составляет душу картины. Отсюда становится естественна и понятна вся фамильярность ее обрамления: ангелочки и Варвара, – какое-то подмигивание или усмешка. Душа художника просвечивает через картину, независимо от ее сюжета, она звучит в ней какими-то неведомыми обертонами. Такое звучание имеет, несомненно, и картина Рафаэля. И каково же это звучание? Странно, что на этот вопрос дается вполне точный и ясный ответ нашим ясновидцем Пушкиным, конечно, никогда не видевшим Сикстины, в

507

одном из самых удивительных его прозрений, – в стихотворении Бедный Рыцарь [23]. В этом небольшом «романсе» столь неожиданно бросается ослепительный свет на тайны католического средневековья и рыцарства, а также и на дальнейшие их судьбы в Ренессансе. «Бедный рыцарь» имел, как полагается рыцарю, «прекрасную даму», которую он соответственным образом и обожал. Ее буквы «начертал он на щите», и эти буквы – A(ve), M(ater) D(ei). Достоевский как будто не замечает этого кощунства, и, увлеченный романтизмом положения в Идиоте, дает Аглае эти буквы просто заменить другими [24], принадлежащими другой «прекрасной даме». В первоначальном (и еще более значительном) варианте Бедного Рыцаря Пушкин гораздо откровеннее договаривает свою мысль о «бедном рыцаре», почему-то завуалированную в окончательном тексте, с отдельными чертами, заставляющими вспомнить даже о Гавриладице. Эта ложная и греховная мистическая эротика приращения пола к жизни духовной отразилась и в русской литературе, здесь, вслед за некоторыми мистическими абберациями музыки Вл. Соловьева, эта тема одно время была излюбленной у поэтически одаренного, но мистически беспомощного и религиозно темного Блока, стихию которого Пушкин наперед предсказал и исчерпал в

508

«Бедном Рыцаре» (а его теперь иные равняют с Пушкиным!)... Здесь дело окончилось неизбежным срывом и тупиком (от «прекрасной дамы» к «незнакомке»). Этот-то своеобразный грех и абберация мистической эротики, которая делала Приснодеву, Пречистую и Пренепорочную, предметом мужских

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
чувств и воздыханий (чего вообще не бывало на Востоке, кроме как в туманных низинах гностицизма), глубоко проникли в душу западного христианства, вместе с духом рыцарства и его культом. И эта фамильярность с Божеством, это мистическое обмирщение, подготовили то общее обмирщение, торжество языческого мироощущения, жертвою, а орудием которого сделались деятели Ренессанса. Красота, двусмысленная и обольстительная, розовым облаком застилает здесь мир духовный, искусство же становится магией красоты. И этой магией зачарованный, замороженный сидел я на этом самом месте четверть века назад, не умея понять, что же со мной происходит. Но тогда я трепетал от религиозного восторга: не зная молитвы и не умея молиться, я пред нею молился. Теперь же я, сохраняя полное самообладание, созерцал лишь художественное произведение. И это было качественно иное, нежели испытанное тогда...

И мысли неслись вихрем, одна другую перебивая и споря. Ведь это же есть свидетельство духовного состояния западного мира, более подлинное и убедительное, чем все фолианты богословия. Как оно могло появиться, оставшись незамеченным, это языческое человекобожие на месте святом? И если люди не видят, не понимают этого подмена, принимая его за полноту и силу, то какой это ужас! И какая прямая дорога отсюда, чрез это открывается в «новое время» с его пустотой и падением. Здесь невольно в душу просится сопоставление европейского Запада и византийского Востока, который, при всех своих ересьях, грехах и преступлениях, мистического блуда вообще не знал и языческим человекобожием не грешил, хотя он-то именно и являлся наследственным хранителем и преемником античности. А здесь, на Западе, воспользовались античностью, с ее еще дохристианской наивно-

509

стью и по-своему чистотой, чтобы ее осодомить. Духовная болезнь потомков и наследников «бедного рыцаря» вскрывается в творчестве Ренессанса, с его язычествующим христианством, в этих изображениях, писанных по воле пап для храмов как иконы, и, однако, не допускающих к себе религиозного отношения, и это тем в большей мере, чем художественно они совершеннее. Ведь то, что с такой остротой я почувствовал в Сикстине, это же самое имеет силу для всей религиозной живописи Ренессанса. Вся она есть очеловечение и обмирщение божественного: эстетизм – в качестве мистики, мистическая эротика – в качестве религии, натурализм – как средство иконографии. Если выразить это в терминах богословия, то здесь восторжествовало некое художественное арианство, или же монофизитство. Была почувствована только человеческая стихия в боговоплощении, божественное потускнело и заслонилось человеческой красотой, обольстительно-двусмысленной, как улыбки на картинах Леонардо да Винчи, и человеческое без духа перестало быть человеческим, стало плотским. Это оплотнение человечества и ведет к религиозному упадку нового времени. И все это совершилось в недрах Духа, в глубинах художественного самоощущения, и это могущественнее Лютера и реформации, вернее, это-то и породило то... Отрыв Запада от Востока, роковой церковный раскол духовно обездолил Запад более существенным образом, нежели Восток...

Но Ренессанс есть для нас уже историческое прошлое, которое мы в настоящее время постигаем и в его ограниченности, и заблуждениях. Одним из таковых является мнение, будто бы картина Рафаэля (как и многие произведения этой эпохи) является иконой и вообще «Мадонной». Но если отказаться от этого недоразумения, – а отказаться необходимо, – то обаятельности своей и силы картина от этого не утратит. Напротив, освобожденная от ложных притязаний, она предстанет пред нами как могучая и прекрасная человечность, как героическое искусство. Здесь даны образы дивной красоты, младенца и матери, чтобы выразить трагическую жертвенность и волю к ней,

510

высший *amor fati*, и то, что здесь явлено, влечет к себе и волнует, художественно пленяет и покоряет. Эту картину нужно воспринимать как изображение пути человеческого восхождения, который есть вместе с тем, трагическая судьба. Трагедия волнует нас высшим художественным волнением, она дает очистительное просветление, сила ее – катарсис. Здесь явлена человеческая трагедия и то, чего отрицаемся мы в порядке религиозном, как кощунства, это приемлемо как трагическое постижение человеческих судеб в искусстве. Только в религии разрешается трагедия, и ею она преодолевается, но трагический путь необходимо ведет к религии. Трагедия может быть религиозно осмыслена как духовное рождение, рассечение плотского сердца к

Поэтому постыжусь ли я религиозных восторгов своей юности и усомнюсь ли в том, что светит мне в прошлом как встреча, откровение, событие? Для этого бессмысленного и малодушного поругания над святынею души я и теперь не вижу никаких оснований. Да, теперь я духовно нахожу себя уже по ту сторону Сикстины, и все видится мне в обратном порядке, неизбежна становится переоценка. Тогда мое непонимание соответствовало мещанской комедии социализма, и в отношении к нему всякое трагическое восприятие жизни является уже духовным освобождением. Не будучи еще религией, оно к ней внутренне вело, становилось ею путем религиозного восхождения. И верный религиозный инстинкт за трагическим прозревал религиозное. И если я тогда эту встречу пережил как откровение Богоматери, то почему же дерзну я теперь это заподозреть, если для меня это было так? Ведь я не видел и не ощущал тогда того двусмысленного и превратного, что я теперь ощутил, и я вовсе не соблазнился им. Та же человеческая напряженность, которая меня потрясла, она и теперь сохраняет силу и внутреннюю убедительность, если не приписывать ей несоответственного значения и не смешивать человеческого и благодатного. Разумеется, теперь и для меня эта переоценка явилась разочарованием, я почувствовал себя потерянным, навсегда похоронив-

511

шим нечто дорогое. Но при этом и радостно было ощущать вечную природу духа, который никогда не остается на месте, но всегда живет; трудно, но вразумительно было вдруг в одном мгновении почувствовать какой-то огромной значительности итог прожитой жизни, и несмотря на все, нельзя не подивиться благодарным удивлением силе творения, которое, словно неподвластное времени, смотрит в душу со своего холста и собою меряет времена и сроки души. Я удалился в волнении и задумчивости. Однако, когда я чрез несколько дней на обратном пути проезжал Дрезден, то хотелось его скорей миновать, – было как-то трудно смотреть в ту сторону, где еще так недавно пережита была эта боль.

От. С.

512

МОЯ БОЛЕЗНЬ (ЯНВАРЬ 1926) [25]

Я не перенес в жизни никакой серьезной болезни. И часто, особенно последнее время, я испытывал смущение, что все кругом болеют, я же всегда здоров, особенно когда мне иногда указывали это со стороны. И это становилось особенно трудно потому, что на меня все тяжелее ложилась туча моих грехов. Я чувствовал гнев Божий и спасающую любовь Его, и невольно чего-то ждал, зная, что Бог поругаем не бывает. Я жил, чувствуя над собой руку Божию.

Я заболел в день преп. Серафима, и первые два дня оставался на ногах и чувствовал себя легко. Но с третьего дня поднялась температура, и я почувствовал, что я вступил в тяжелую и опасную болезнь. Из дня в день поднималась температура. Страдания были очень велики, особенно ввиду того, что я не спал ночью, и сознание мое, как мне, по крайней мере, казалось, не затемнялось ни на минуту. Время стало. Я не знаю, месяц или год продолжалось мое горение. Во всяком случае, того, что в нем совершилось, нельзя измерить временем, тем более столь кратким. Я жил с такой интенсивностью и напряженностью всеми силами своей грешной и кающейся души, что минуты вмещали просветы в вечность, был Бог, и я пред ним со

513

своим грехом. Вообще утратилось сознание ограниченного места в пространстве и времени, осталась только временность и пространственность. Я совершенно терял сознание того, что мое тело, чувствилище мое, помещается на кровати, потому что оно для меня расплывалось в другие комнаты и вообще в пространство, и я с трудом находил малую часть себя в непосредственном своем обладании. Также расплывалось и единство моего я, потому что я ощущал себя, как немое мы множество, и в него с трудом входило какой-то смутной точкой мое собственное я. Время для меня вообще наступало только в просветах, когда со мной что-нибудь делали; особенно операции с уриной, которая остановилась, мне были очень мучительны.

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
Словом, мое я расплавилось в жару и сделалось жидким и плавким. Но мое духовное «я» достигало все большей остроты и сознательности. Оно было неумыт-ным судией моей жизни. Я был в страхе и трепете. То было как бы хождение по мытарствам, в котором вскрывались жгучие раны моей души. Но Господь помиловал меня тогда и оградил от демонских видений. Но состояние жара вместе с духовными мучениями создавало огненную печь. Я теперь только понял, почему это Церковь так возлюбила образ огненной печи и печного горения, и что она говорит об этом образе. Ибо я горел в ней, но я спасался как бы из огня. В этой огненной печи появлялась некая прохлада. Ангел-хранитель, который спускался в печь к отрокам, он и ко мне приближался и прохлаждал пламенеющее тело и спасал. Нельзя этого выразить словами, но отныне я знаю, как можно сгорать в огненной печи, не сгорая.

В первое время болезнь моя – долго ли, коротко ли, я не знаю, – была этой огненной печью...

И вдруг, – после этого горения, – прохлада и утешение проникли в огненную печь моего сердца. Как поведать это чудо милости Божией, чудо прощения? Но я ощутил его всем своим существом, его безмерную радость и легкость. Ангел-хранитель, бывший со мной

514

неотлучно, вложил мне это в сердце. Я вдруг почувствовал, что ничто не отделяет меня от Господа, ибо я искуплен Господом.. Даже во время исповеди я чувствовал, что уже имею прощение. Было чувство: грехи мои сгорели, их нет.

Но эта тайна прощения была явлена мне лишь в связи с тайной смерти, ибо одновременно я почувствовал, что жизнь моя окончилась и я умираю. Но где же он, страх смерти? Его нет, есть только радость смерти, радость о Господе. Небесная, невыразимая на человеческом языке радость исполнила все мое существо.

Это было так. В субботу 10-го (весь этот перелом совершился в субботу 10-го – воскресенье 11-го, когда Церковь молилась о моем выздоровлении) я почувствовал себя вконец обессиленным болезнью – и ужаснулся мысли о смерти. Этот ужас был более всего связан с мучительной заботой об оставляемой семье, ее жизни после меня и без меня. Сердце мое исполнилось малодушия и маловерия. Но в это время мне была послана поддержка, одно только дружеское слово, что все в воле Божией и ненужно и о них беспокоиться. Мне прямо в сердце вошло это слово, и я с радостью почувствовал, что Бог, меня милующий и спасающий, спасет и помилует и их, что я должен предать их Богу. И когда это предание совершилось в сердце моем, я почувствовал неведомую радость, покой и свободу «ныне отпускаеши». И в этот же миг почувствовал, как семья моя, все время неразрывно связанная любовью и заботой с сердцем моим, вместе с моими любимыми, от меня отделилась, куда-то отошла, я умер и оказался за гранью этого мира. Во мне все светилось особенной радостью. Явилось сознание, что живы и близки одинаково все, и живые и умершие. Я всех духовно чувствовал с собою, а вместе с тем как-то сознавал, что физические страдания все равно не позволяют мне телесно общаться с находящимися у моей постели. Я по очереди вызывал к себе, духовно лобызал давно, давно умерших, так же как и живых, и было для меня так же свободно и чувство места: я был в любимом, родном Крыму, лето смерти сына

515

1909 года, с его солнечными лучами. Но и этим местом я не был связан. Над всем же царило присутствие Божие. Навсегда я познал, что есть только БОГ и милость Его, что жить надо только для Бога, любить только Бога, искать только Царствия Божия, и все, что заслоняет его, есть самообман. Я призывал и чувствовал близость Пречистой Матери Божией, но у меня не хватало силы для восхождения. Затем я двинулся, словно по какому-то внутреннему велению, вперед, из этого мира суда – к Богу. Я несся с быстротой и свободой, лишенный всякой тяжести. Я знал, каким-то достоверным внутренним чувством, что я прошел уже наше время и теперешнее поколение, прошел еще следующее поколение, и за ним уже начал светиться конец. Загорелись неизреченные светлы приближения и присутствия Божия, свет становился все светлее, радость неизъяснимее: «нести человеку глаголати». И в это время какой-то внутренний голос спутника – я был один, но вместе с неким м ы, то был

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
Ангел-Хранитель, – сказал мне, что мы ушли слишком вперед и нужно вернуться к жизни. И я понял и услышал внутренним слухом, что Господь возвращает меня к жизни, что я выздоравливаю. Я не могу теперь уже постигнуть, как это было, но один и тот же зов и повеление, которое освободило меня от жизни этого мира одновременно и тем же самым словом определило мне возвращение к жизни. Внутренне я уже знал, что я выздоровлю. Мне еще не было лучше, однако я был совершенно спокоен, потому что услышал Божие повеление. Но я вернулся к жизни из смерти, все мое греховное существо прожжено огненной печью. Я чувствую себя освобожденным от тяжести греха и стараюсь не держать его даже в памяти. Я чувствую себя как новорожденный, потому что в моей жизни произошел перерыв, чрез нее прошла освобождающая рука смерти. Я не могу уразуметь и не хочу греховно допытываться, что Господу угодно было сотворить со мною, но свидетельствую немолчаливым языком дела и чудеса Божий. Господи, твори волю Твою. Каждый день моего бытия, каждое любимое человеческое лицо встречаю новой радостью. Лишь бы Господь дал мне и

516

им жить светом, Богом явленным. Кто Бог великий, яко Бог наш, Ты еси Бог творяй чудеса.

В марте этого (1939) года определилась моя болезнь, – рак гортани, требовавшая быстрой и притом двойной операции, причем наиболее вероятным исходом являлся смертный, в благоприятном же случае потеря голоса навсегда. Я плохо понимал медицинскую сторону дела. Но могу сказать, что то, как я встретил и пережил огромную весть, было настоящим чудом Божиим. Я не испытывал ни страха, ни печали, вернее, это было радостное возбуждение в ответ на зов Божий. От страха (я знал уже, что обе операции будут без общего наркоза, и, следовательно, сулят тяжелые страдания) меня спасло и чувство некоего любопытства в отношении к опасности, мне свойственного. Это Пушкинское:

Есть наслаждение в бою И бездны мрачной на краю
Все, что нам гибелью грозит, Для сердца смертного таит
Неизъяснимо наслажденье. [26]

Во время первой операции я наблюдал ее в зеркало, которое было надо мной в потолке и отражало все подробности разреза горла (трахеотомии), и мне было как-то все-таки интересно, хотя и мучительно. Во второй операции против этого наблюдения были приняты меры, да и сознание было притуплено от наркотиков. Тем не менее и здесь я слышал суждения и замечания и по возможности наблюдал происходящее в полном сознании, воспринимая, конечно, всю боль, но не страх. От печали же и страха меня освобождала

517

сила Божия, об этом вспоминаю я с радостным чувством глубокого умиления. Да, это было состояние какого-то восторга, который я мог передавать и другим. В последнюю субботу и воскресенье перед операцией я исповедывал и причащал своих друзей, с ними прощался, и, насколько я могу судить, не было печали и в них, как и у меня ее не было. Был лишь восторг любви. А я считал и считаю себя трусливым и воспринимаю эту радость, как чудо Божие, действие Св. Духа. Конечно, мне было тяжело и страшно за близких, семью, но и это как-то чудесно умерялось. И в таком состоянии я прибыл в клинику накануне операции [27], также бодро и спокойно. Обе операции следовали одна через две недели после другой, – вторая в Страстной вторник, в дни Страстной седмицы. Я потерял речь уже после первой операции и нечувствительно перешел на карандаш. Это как-то само собой разумелось и даже не было тягостно. Страдания начались в дни Страстные, когда было вырезано горло и прежде всего мучительно затруднено было дыхание вместе с удушающими, злыми, отвратительными перевязками, которые превращали меня в какой-то неподвижный сверток, лишая движения и сна. Само собою разумеется, что я был лишен и еды, ибо не мог раскрыть рта для глотательных движений, а тем более глотать через разрезанное горло. Мне была вставлена в нос отвратительная трубка, через которую вливалась какая-то гадость. «Жажду». И вкусил уксуса». (Ин.: 19: 28, 24). Но

518

не это было самое мучительное, – не боль, но удушье, отсутствие воздуха, соединенное со смертной, невыносимой слабостью. Было несколько раз, – преимущественно ночью, – страшного, убийственного удушья, когда я и

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
объективно был на границе смерти. За все время своей болезни я не переживал ничего, по силе мучительности равного этому. Иногда это было сравнительно коротко, но бурно, а порой длительно, сопровождаясь состоянием затемненного полубредового сознания, да и вообще я не выходил из состояния унижительной зависимости от аппарата, освобождавшего (чаще же не освобождавшего) дыхание от слизи. Это было умирание – с перерывами, но без просвета. Я погружен был в какую-то тьму, с потерей сознания пространства и времени и лишь с смутной памятью о том, что идут Страстные дни – наступает Страстная Пятница с Благовещением. Хронологически сознавал я наступление Пасхи, принимал пасхальные приветствия, но Голгофская тьма не рассеивалась и была непосильна, отсутствовала пасхальная радость для умирающего, которому однако не дано было вкушение смерти. Да, приближения смерти не было, лишь одно умирание. В дни былые мне дано было изведать смерть с ее радостью и освобождением, здесь же тяготели только ее оковы, и мрак. Что сделалось с той радостью и что осталось от того восторга, который дано мне было изведать перед операцией? Как будто ничего, вернее, хуже, чем ничего, одна лишь смертная сень в рове преисподнем. Свет жизни погас, наступило безблагодатное бесчувствие, то, о чем сказано: «векую Меня оставил». Осталось, правда, тупое сознание, что я пребываю в воле Всемогущего, и именно эта воля определила меня к страданию или как-то попустила его как неизбежное. Насколько могу себя вспомнить, не было мысли о смерти, кажется, ни на одно мгновение. Не было ее ожидания, ужаса перед ней, – слишком подавлено было сознание и тупа мысль. Слишком был далек я от света смерти в своем умирании, слишком погружен был в свое задыхание, слишком опустошена была телесным страданием душа моя. Уже не было и молитвы, как пути восхождения к Богу, как не было восхождения у «оставленного». Была

519

безрадостная ночь без зари, без утра. Оставалось чувство физических страданий, но даже и это бледнело перед общим чувством утраты силы духа, оставленно-стью... может быть, это и было самое страшное...

И что же во мне оставалось еще человеческого и оставалось ли что? Да, оставалось, и это было какое-то последнее чудо в страждущей душе моей, – оставалась любовь. Я любил братьев своих, и всех любил. Я перебирал любящей мыслью знаемых в прошлом как любимых, так и не любимых, – как тех, кого мне легко и радостно было любить, так тех, кого любить было трудно. Но я только любил, и всех кого помнил. Не знаю, была ли это любовь в Боге. Кажется, да, и, вероятно, да – как же бы иначе мог я любить. Конечно, из находившихся около моей постели одни больше, другие меньше радовали меня, одни утешали собой, другие утомляли, но никто не мог нарушить гармонии любви, которая как-то прорывалась через диссонансы моего смертного дня.

Но где была моя мысль, никогда во мне не угасавшая? Где «проблематика», всегда меня сверлившая? Где комплекс идей, вдохновляющих и радующих, с которыми я переступил порог даже и этого госпиталя? Все это как будто угасло, перестало существовать. Я стал пуст, очевидно, мысль уже непосильна. Мое существование оскудело, упростившись до телесного бытия, ставшего лишь возможностью страдания. Чувствовалась ли близость Божия? Да, она была ощутима, поскольку меня ничто от Бога не отдаляло, кроме телесного страдания, потому что отошло все другое. Эта близость Божия, стояние пред Ним лицом к лицу было трепетно. В своей болезни ни раньше, ни после, никогда и ни в чем я не противился воле Божией, не роптал, не просил Его о помиловании и освобождении от страдания, принимал его как неизменное и несомненное Божие определение. И в этом смысле была эта близость страшная и святая, как у Иова. Но... она не была радостная, ибо... была насквозь пронизана одним чувством: векую меня оставил? Однако наряду с этим еще одно, чего я не ведал доселе и что явилось для меня настоящим духовным событием,

520

которое останется навсегда откровением, – не о смерти, но об умирании, – с Богом и в Боге. То было мое умирание, – со Христом и во Христе. Я умирал во Христе, и Христос со мною и во мне умирал. Таково было страшное и потрясающее откровение, которое тогда я, пожалуй, не мог бы выразить в словах и понятиях и осознал только позднее. Одно лишь не поддающееся исчислению времени мгновение прошло между «векую Меня оставил» и «испустил дух», между умиранием Христа в Его богооставленности и смертью. Но оно содержит в себе безвременную длительность и полноту умирания для всякого человека, поскольку он им и в нем умирает. Иначе, как в богооставленности

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
человеку и нельзя умереть, как нельзя было умереть всечелове-ку, Новому Адаму, в Богочеловеке. Я ведал Христа в своем умирании, мне была ощутима Его близость ко мне, почти телесная, но... как лежащего со мной «изъявлена и ранена мертвеца». Он мог помочь мне в моем страдании и умирании только сострадая и умирая со мной. Я видел этот образ внутренним зрением, я чувствовал Его так, как Его почувствовал Гольбейн, а за ним Достоевский в своем страшном образе смерти Христовой, в котором передана, однако, не смерть, но умирание, не сила посмертного преображения, грядущего с воскресением и на пути к нему, но застывшая, остановившаяся на умирании смерть. Это именно соответствовало смертным дням Страстной седмицы, которые входили и проникали в мое существо. Раньше, в дни здоровья, я противился Гольбейн-новскому трупному образу как неверующему и хуль-ному изображению. Теперь оно для меня ожило именно в этом образе смерти как умирания, откровения о смерти в человеческом умирании в Богочеловеке. Есть еще один, также раздирающий душу образ страдания Христова – Грюневальдовский Христос. Однако, это было другое, а потому не вспомнилось: распятие Грюневальда есть лишь момент в диалектике смерти, неразрывно связанный с воскресением во славе, что и дается рядом другими изображениями в полиптихе. Грюневальд дает страшный образ смерти в ее трупности после совершившегося уже и тем обессилившего

521

себя умирания. Но у Гольбейна, хотя и в трупном образе, дано почувствовать не совершившееся, но еще лишь совершающееся умирание, самая его сила. Так я это чувствовал, – не мыслью, но внутренним видением, – тогда, когда я сам лежал вместе с Ним, не мертвый, но лишь умирающий, и еще не труп, но в трупности не живой, хотя и не мертвый. Этому Христу я не мог, – или не умел еще тогда, – молиться, я лишь мог Его любить и с Ним сострадать, поскольку и Он страдал со мною. Чрез мое, человеческое умирание для меня открывалось Его, человеческое в Богочеловеке, умирание. Божественность как бы угасала в бого-оставленности, а человечность умирала. Умирание, совершившееся в смерти Богочеловека, только и могло совершиться человечески, то есть в богооставленности человека. Оно отождествлялось со всяким человеческим умиранием и в этом смысле было универсально, включая в себя все его образы, все смертные болезни, было их синтезом. И общим содержанием всех этих многообразных умираний была смерть. Богочеловек в бо-гооставленности Своей открыл Себя, сделал Себя доступным умиранию. Смерть приступила к Нему в Его человечности. И это умирание было мукою всех человеческих мук. В человечности своей оно было естественно, то есть не было облегчено растворением с силой Божественной. Совершилось в предельном кено-зисе, как бы разделение естеств которое не могло, конечно, явиться таковым в онтологическом смысле в силу нераздельности обоих естеств во Христе, но при бездейственности одного естества оставалось в своей собственной силе другое. В этом самоуничижении Богочеловека и заключается спасительная сила Его смерти, ее человечность является путем ее богочеловечно-сти. Христос умирал нашей, человеческой смертью, чтобы принять чрез нее смерть Богочеловека. Поэтому-то и наше умирание, как со-умирание с Ним, есть откровение о смерти Христовой, хотя еще не об Его славе. Здесь я познал, что значат слова апостольские: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса,

522

чтобы и жизнь Иисусова открылась смертной плоти нашей, так что смерть действует на нас, а жизнь в вас». (2 кор. 4, 10–12). И еще: «Вся тварь совокупно стенает и мучится донныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего» (22–3).

В умирании я не умер и не познал света смерти (как мне это дано было ранее), но так в нем и остался на некоторое, длительное время, если не навсегда. И когда доктор, после одного из очередных осмотров, неожиданно сказал мне: *vous etes gueris*, и предложил взять меня из больницы домой, я не ощутил никакого выздоровления, разве только легче стали перевязки. И мучительное бессилие, отсутствие чувства жизни, как в умирании, сопровождало меня тем более, что теперь иногда приходилось двигаться, вообще жить. Я стал вымогать от себя какое-нибудь занятие, вроде чтения, причем как в тумане, полусознательно воспринимал привычные религиозно-философские сюжеты. Это было еще переносимо и как-то естественно.

Но продолжающимся умиранием было не оставлявшее меня чувство богооставленности. В мрачном молчании томилась душа моя, нема была молитва, безрадостна и безблагодатна жизнь. О, и тогда во всем моем существе не было места для ропота. Напротив, «да будет воля Твоя» и «слава Богу за все», несокрушимо звучали во мне, настолько несокрушимо, что не допускали проверки или сомнения. Если можно назвать эту несокрушимость радостью, какую-то благодатью веры, то мне была дана эта радостная твердость в вынесении посланного. Но она не сопровождалась радостью встречи с Богом в той близости Божией, которую я все-таки познал даже в своем умирании. Моя жизнь оставалась безрадостной. И главное, – потерялась радость церкви, – церковной молитвы и праздника. Шли недели Пятидесятницы, и я сознавал это умом, но не сердцем. Моя жизнь была окутана мраком, тяжело лежал на мне крест немоты. Я должен был записками говорить в семье, с женой, сыном, близкими, и это создавало особое страдание унижения и как бы стыда. Главное же страдание было от сознания, что никогда

523

я не могу стоять у святого престола и совершать литургию. Этого словами нельзя передать. Правда, даже и оно не исторгало из моего сердца ропота, и оно разрешалось в покорное: «Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно имя Господне», но мрак его оставался нерассеянным. Особенно же он сгустился после того, когда мне было сказано, якобы из компетентного источника, что я не могу рассчитывать на восстановление речи. Хотя мне говорили и противоположное, но это не доходило до моего сознания. Продолжающееся умирание темной тенью лежало на моей церковной жизни. Я был не в состоянии еще ходить на богослужение. Но в этом и не чувствовалось потребности. Я не мог еще приступить к Святому причащению. Близились дни Святой Троицы и Святого Духа, 21 мая, годовщина моего рукоположения, – и я думал об этих днях, таких для меня всегда торжественных и светлых, со страхом и тоскою как мертвый... В этом чувстве, казалось, сосредоточивалось мое страдание, умирание без смерти...

И вдруг оно прервалось милостью Божией. Это чудо совершилось чрез посредство верного, любящего друга, который принес мне радостную весть от доктора, что он клянется о возвращении моего голоса. Конечно, теперь я знаю всю преувеличенность этой клятвы. Но как тогда я был потрясен и обрадован этой вестью, которая все-таки обещала мне преодоление молчания. Как будто небесный свет прорвался чрез мрак моего существа. Бог явил мне Свою милость. Радостными слезами рыдал я, как никогда еще в жизни. Да будет благословенно Имя Господне. В канун и в день Святой Троицы я был в храме, а в день Святого Духа причастился Святых Тайн (после исповеди), у себя на дому. День моего рукоположения был для меня радостным, как, кажется, никогда еще раньше. Друзья мои переполнили дом мой собою и цветами, приветствуя мое возвращение к жизни. Умирание кончилось. Началась жизнь со своими новыми задачами и трудностями. Умирание не разрешилось в смерть, но осталось лишь откровением о смертном пути, который предлежит всякому человеку вслед за Христовым, хочет ли

524

он того, или не хочет. Смертность заключена в самой падшей человеческой природе, которую воспринял Христос в смертном человеческом естестве. Всякая болезнь есть уже ведение смертности, откровение о ней, которого никто не может миновать и мера его определяется силою болезни, приближением к смерти. Объективно я был на волосок от нее в первую половину болезни, субъективно же я был почти всецело охвачен смертностью и потому познал ее. Познал как крестное умирание Господа в Его Богооставленности даже до смерти, от «всякую Меня оставил» до «в руки Твои предаю дух Мой». Умирание не содержит откровения о смерти самой, оно дается только ее вкушением, и тем самым безвозвратно этот мир оставившим. За гранью смерти следует откровение загробной жизни, как начала нового бытия, о нем не говорит нам посюсторонний человеческий опыт. Умирание само по себе не знает откровения и о загробной жизни и о воскресении. Оно есть ночь дня, сам первородный грех. Можно забывать о смерти, отворачиваясь от нее, и, конечно, не следует наполнять жизнь одним лишь предчувствием смерти. Однако и забвением о ней нельзя уйти от него, – оно приходит рано или поздно ко всякому человеку, и это есть вопрос только времени.

Примечания

1

1 Слободка за рекой называется Засосна.

2

2 С слободкой Заливенкой.

3

1 Во время жительства в Крыму под большевиками в 1918–19 гг. я написал толстую тетрадь с повестью о своей жизни, примерно в течение 30 лет. При моей высылке я ее оставил, казалось, в надежные руки, но во время очередной паники перед обыском тетрадь была зарыта в землю и – погибла. Ее содержание невосстановимо, – ни в памяти, ни в душе, как не восстановима и запись о моем духовном умирании пред рукоположением, а об этом я жалею больше, чем о жизнеописании. И это была – смерть первая и воскресение первое, за ними последовала теперь смерть вторая и воскресение второе. (См. запись 1942 года: «Мое рукоположение»).

4

1 Вспоминаю следующий символический жест: 18 октября 1905 г. в Киеве я вышел из Политехникума с толпой студентов праздновать торжество свободы, имея в петлице красную тряпицу, как и многие, но, увидав и почувствовав происходящее, я бросил ее в отхожее место. И мне открылось Евангелие со следующим текстом в ответ на мое немое вопрошание: «сей род изгоняется молитвой и постом».

5

1 Думаю, что моя внешняя судьба здесь аналогична судьбам также семинаристов Добролюбова и Чернышевского.

6

1 На путях Промысла Божия эти времена и сроки человеческой жизни имеют, очевидно, свою таинственную предустановленность. Мой beau-pere Н. П. Водовозов умер от чахотки 25-ти лет, в расцвете интеллигентской гордыни и нигилизма. Значит ли это, что ему уже нечего было изживать на земле и он отозван был для того в иные сферы?

7

1 Свою жизнь до 30-летнего возраста я в 1918 г. описал для детей в толстой тетради, в Крыму безвозвратно погибшей в земле во время одной из очередных паник, уже после моей высылки из России (1922–1923).

8

1 «Und bulgakoff ist fromm geworden» передавали мне изумленное восклицание Kautsky, одного из вождей германской социал-демократии (это можно по смыслу передать так: «Булгаков обидиотел!»).

9

1 Незадолго до этого, в рождественские праздники, Святейший Патриарх меня понудил (еще мирянина), составить текст первого его послания, возвещающего об его вступлении на Патриарший Престол, что я и исполнил (читано было в храмах на Крещение).

10

1 При этом упомяну и о такой смешной и характерной подробности всего этого события. Когда я в субботу (канун дня Троицы, на значенного для моего рукоположения) пришел в Московскую консисторию выправлять свое ставленническое дело, в нем оказалось отсутствующим письменное удостоверение относительной моей жены, что она православного исповедания и венчана со мной первым браком. Хотя я, будучи не только членом церковного собора, но и избранного им Высшего Церковного Совета, об этом заверял секретаря консистории, этого оказалось недостаточно, необходима была соответственная бумага. Когда же он обратился за этим в канцелярию Свящ. Собора, то оказалось, что оттуда ее нельзя было получить. Каково же было мое волнение, когда я понял, что все для меня висит в воздухе из-за этого канцелярского формализма, ничто здесь не может помочь и даже некуда обратиться, потому что сам Патриарх, если только и он мог здесь справиться с неумолимостью канцелярий, был уже в отъезде (в Петербург). А между тем день склонялся уже ко второй половине, все было условлено и решено (даже вплоть до газетных заметок о предстоящем рукоположении, которые намеренно были отложены до утра самого Троицына дня). И вот, в последнюю минуту меня осенила спасительная мысль обратиться к секретарю канцелярии Московского Коммерческого института, где я был профессором, за выдачей такого удостоверения. Отправил спешного гонца, и, беспрепятственно выданное свидетельство удовлетворило консисторию и, тем самым, моя карма политической экономии открыла мне врата Данилова монастыря. Я испытал чувство совершившегося надо мной чуда милости Божией.

11

2 Много дружеской заботы и ласки было проявлено к тому, чтобы меня одеть в «духовное», тогда это по-своему было не менее трудно, как и теперь. Бог помог мне с тех дней всегда сохранять «духовный» облик, хотя были времена, когда от меня требовали ему измены под угрозой опасности смертной.

12

1 Последний, зато и самый ответственный случай такого самосвидетельства я имею, выпуская теперь свой III том трактата о Бого-человечестве.

13

1 Я вспоминаю из детства и юности, как Страстная и Пасха являлись для нас настоящими только на родине, Ливенскими, перенести же их в Москву, в столичную обстановку, с трамваями и пр., было уже неудобно и трудно.

14

1 Я не знаю, выдержало ли бы такое гонение более централизованное католичество, если бы и его постигло такое же гонение.

15

2 Только первый из них был мной однажды прочитан в Праге, ко всеобщему недоумению. Он так и остался ненапечатан, но тогда и я сам уже освободился от своего обольщения.

16

1 Богословские следы этой внутренней борьбы можно видеть в моих очерках: «Петр и Иоанн, два первоапостола», и «О Ватиканском догмате». Полемический характер обоих дал мне репутацию католиковода, которым я отнюдь не являюсь.

17

1 Настоящий отрывок заимствован нами из книги «Свет Невечерний», Москва, 1917 (с. 7–10), в которой он помещен (мелким шрифтом), как конкретный пример «пережитой в личном опыте встречи с Божеством», каковая является «единственным источником религии». «Религия зарождается в переживании Бога... и как бы ни кичилась мудрость века сего, бессильная понять религию за отсутствием нужного опыта, за религиозной своей бездарностью и умертвением, те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о Нем» (там же, с. 10). – Примеч. ред.

18

1 «Свет Невечерний», с. 12–14.

Смерть сына Ивашечки (родился 25 дек. 1905 г., умер 27 авг. 1909 г.), была пережита о. Сергием не только как личное горе, но и как религиозное откровение. Об этом он помнил всю жизнь. Снимок с Ивашечки на смертном одре всегда украшал его комнату, а 14 января 1923 г., в день своей серебряной свадьбы, он делает на случайной гравюре (с видом Константинополя) следующую надпись: Олеиз, 14 января, 1898. Константинополь, 14 января 1923.

Благодарни суще недостойные рабы Твои Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших, славим Тя, хвалим, благословим, поем и величаем.

Иоанн

Сергий – Елена

Мария – Феодор – Сергей

Булгаковы – Токмакова

(Примеч. ред.).

19

1 Рукопись, найденная в бумагах о. Сергия после смерти. – Примеч. ред.

20

1 Напечатано в журнале «Русская Мысль», 1924. Прага, стр. 229– 237.

21

1 Напечатано в журнале «Русская Мысль», 1924, кн. IX-XII, с. 425–433.

22

1 К слову сказать, такую красоту только и знал Достоевский, свидетельствовавший о наличии в ней и содомских и миротворческих начал, видевший в ней арену борьбы Бога с дьяволом. Про эту красоту Ренессанса нельзя сказать, чтобы она могла «спасти мир», ибо сама она нуждается в спасении.

23

'О Бедном Рыцаре в обоих вариантах мне приходилось писать в сборнике «Тихие Думы». Москва. 1918.

24

2 Аглая говорит о «Бедном Рыцаре» (и похоже, что ее устами говорит и сам Достоевский, который, по крайней мере, сам ни одного слова не проронил относительно странности самого предмета рыцарского обожания): «Там, в стихах этих, не сказано, в чем, собственно, состоял идеал «рыцаря бедного» (??), но видно, что это был какой-то светлые образ, «образ чистой красоты» (??), и влюбленный рыцарь, вместо шарфа даже четки себе навязал на шею... Как бы то ни было, а ясное дело, что этому бедному рыцарю уже все равно стало: кто бы ни была и что бы ни сделала его дама. Довольно того, что он ее выбрал и поверил ее «чистой красоте», а затем уже преклонился перед нею навек... Поэту хотелось, кажется, совокупить в один чрезвычайный образ все огромное понятие средневековой рыцарской платонической любви какого-нибудь чистого и высокого рыцаря; разумеется все это идеал. В «рыцаре» же «бедном» это чувство дошло уже до последней степени, до аскетизма. «Рыцарь бедный» тот же Дон-Кихот, только серьезный, а не комический.

25

1 Оба приводимые отрывка о болезнях 1926 и 1939 гг. заимствованы нами из неопубликованной рукописи о. Сергия, озаглавленной «Софиология смерти». Эта статья является важным богословским исследованием, примыкающим к христологическим работам, связанным с темами Агнца Божия. Проблема смерти Христовой, – смерти Богочеловека, – с особенной силой приковала к себе внимание о. Сергия после того, как он сам пережил минуты умирания, опыт порога смерти и возвращения к жизни. Описание этих последних имеют автобиографическое значение, и мы приводим их в извлечении. (Примеч. ред.)

26

1 Неточная цитата. У Пушкина так: Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю... Все, все, это гибельно грозит Для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья... (Примеч. сост.)

27

1 Вот та запись, которую (неожиданно для самого себя, потому что давно уже перестал что-либо записывать) я сделал незадолго до операции: «6. III. 1939. Да будет воля Твоя. Сегодня глянула в лицо мне смерть, – от раковой опухоли голосовых связок или же операция тоже со смертельной опасностью или с

Булгаков С.Н. Автобиографические заметки filosoff.org
неизбежной немотой. Я смиренно и покорно, даже спокойно, принимаю волю Божию. Не смею сказать: «Желание имый разрешится и со Христом быти», но и светло встречаю загробную жизнь. Только разлука с любимыми и их судьба заставляет сжиматься мое сердце, но верю Господу, владеющему жизнью и смертью, что Он их не оставит. Стараюсь обдумать, как и с кем надо примириться, кого утешить и обласкать, что сделать.. Стараюсь всех вспомнить и никого не забыть. Да пошлет Господь светлого Своего ангела. Когда-то умирал я духовно в своем рукоположении, а теперь, умирая телесно, хотел бы умириться и всех возлюбить..

...Слава Богу за все!

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!